

АЛЕКСАНДР  
ГРЕФ



# НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ

Москва  
2023



# ТРИ РАССКАЗА



## МУСЯ

Весной, через несколько дней, как мы отметили девяностопятилетие мамы, она умерла. Мама родилась в 1919 году во время обстрела Мариуполя кораблями Черноморского флота, перешедшими на время под флаг Махно. Отец мамы Макар — печник из крестьян Курской губернии, заброшенный в Мариуполь Первой мировой и Гражданской войнами, мама Ефросинья — из рыбаков. Ефросинья родила Макару двух девочек и мальчика, старшую Мусю, Марию — мою маму.

Бабушка Фрося, как большинство жителей многонационального южнобережного котла Российской империи, была смешанных кровей: какой-то долей украинкой, какой-то гречанкой, полькой... Кстати, грек наградил всё потомство большим носом. Маму при оформлении метрики записали украинкой, возможно, лишь по той причине, что русскоговорящий Мариуполь в те времена был отделен Украине, в общем, вопросом национальности никто в семье особенно не заботился. Впоследствии и я стал украинцем, согласно советскому паспорту.

Мама училась в хорошей школе Мариуполя, хотя жила далеко от центра, в комсомольской юности со-

стояла в пионерских вожатых и даже носила сумку с противогазом, имеется такая фотография в семейном альбоме. От других девочек её отличали рыжие конопушки и невероятная синева глаз, пленившая в конечном счёте и моего отца, вернувшегося с фронта.

Войну мама встретила в Мелитополе на следующее утро после студенческого бала, на котором кавалер упустил её в крутом па и она проехала на попе по диагонали актового зала. На фронт мужской курс тракторного института уходил полным составом, а три девочки этого курса оставались в тылу, как тогда думали... Курс строем проходил перед девочками, и каждый целовал их, как иконы.

Немцы взяли Мариуполь без боя — город стоял вдали от магистральной линии. Моя двоюродная бабушка Поля до конца дней не могла спокойно слушать немецкую речь — плакала. Немцы провели по городу пленных матросов, скрученных друг с другом колючей проволокой, под автоматами, со взбесившимися собаками по периметру. Матросы срывали тельняшки и бросали под ноги. Их погрузили на баржу и затопили. Когда матросы прошли, улица осталась покрытой ковром окровавленных тельняшек и черных бушлатов... Такую же картину Мусе довелось увидеть ещё раз в другие времена: зэки в 53-м году, по смерти Сталина, в Магадане взбунтовались, бунт жестоко подавили, а зэков провели по городу в порт в окружении конвоя и собак. Зэки срывали чёрные бушлаты, серые ватники и бросали под ноги...

Но боялись в Мариуполе всё же не немцев, а полицаев. Дважды Муся стояла на краю жизни: разыскивали тех, кто расклеивал ночами сводки Совинформбюро, написанные от руки под копирку. Приходили не раз, но дважды время останавливалось: полицаи встают на табурет и снимают с печи коробку с ёлочными игрушками, в которых спрятаны лампы радиоприёмника... Полицай берёт истёртые фиолетовые листики — что это? В пачке между невесомыми копиями, по которым обводились девичьи вышивки, хранились и другие — с зеркально запечатлёнными на них текстами листовок... Оба раза Господь отводил глаза палачам. Расстреливали во дворе у яблонь.

Освободили Мариуполь тоже без боя. В затаившийся, будто вымерший южный город, хоронившийся по погребам и огородам от немецкого угона, с ходу вошли танки... Тишина и рокот моторов... Наши? Нет? Провокация? «На-а-ши-и!!!» И река, море, океан цветов! На танках сидели усталые бойцы, совсем дети, темнолицие, раскосые, чумадые... Их обнимали, целовали, заглядывали в лица, совали какую-то еду... Наши!

О годах оккупации не говорили вслух, и мать вне семьи не говорила. В последний год войны она родила девочку, мою сестру, имя которой выбирали все, родственники и соседи, — жили очень тесно. Девочку называли Элеонорой.

Диплом Муся защищала в Москве, где поселилась на Арбате в комнате у сестры своего ближайшего соседа по Мариуполю. Здесь её и увидел мой отец, только

что демобилизованный с фронта. Свадьбу сыграли, купив буханку чёрного хлеба, проходя мимо ЗАГСа в Староконюшенном. Отец, горный инженер, с молодой женой и двухлетней дочерью поехал на Колыму добывать золото для страны. Возможно, это был спасительный шаг для семьи: над отцом, прожившим двадцатые годы в США, встретившим на Эльбе американскую армию, нависла угроза отправиться на Колыму под конвоем. С собой в качестве валюты взяли махорку и мешок лука.

От золотиносного края у матери, южной девочки, сохранились два первых острейших воспоминания: замороженное огромными кругами молоко, которое кололи и носили в простынях, и праздничное открытие катка на Первое мая. В Магадане родился я и, прожив несколько дней, чуть не умер от простуды, обо мне просто забыли, спасали мать, бившуюся в послеродовой горячке. На Колыме срок — десять лет, копейка в копейку, раньше не выбраться. Но можно остаться навсегда, как и в оккупации: одно неловкое движение, неосторожное слово — и ты превращён в пыль.

Однако жизнь не череда бед, рождались дети, случались праздники, розыгрыши, цветы. Мать вырастила в нашей магаданской барачной комнатке в четырнадцать метров розовый куст из черенка, чудом найденного в снегу в тридцатиградусный мороз. А рядом с кустом роз, стоявшим у окна на табурете, поднимался над кадкой огромный фикус! И проживали в комнате пять человек, за занавеской тумбочка с примусом и ночное ведро...



Мария Макаровна всю жизнь проработала на автобазах около машин экономистом, я помню эти огромные листы с бесконечными цифрами. Экономист — важнейшая фигура социалистического предприятия, он подгонял реальную выработку под План, но так, чтобы показать прирост не больше пяти процентов: меньше — лишат премии, больше — увеличат план. Она и ночами считала-пересчитывала: месячный, кварталный, годовой... Тридцать лет! И как же мне жаль, до слёз жаль, её растрченных в пустую сил!

Последние годы мама жила у Эллы в семье из четырёх женщин четырёх поколений: мать, дочь, дочь и дочь. Вместе, на диване в ряд, они представляли трогательное зрелище неразрывности жизни, от старости к сияющему в шёлковых кудрях младенчеству. Сногшибательную синеву глаз мама сохранила до последних лет.

Мама вязала, как и её мама, бабушка Фрося, только бабушка вязала белые кружева из ниток, а мама вязала «в цвете». И когда к концу жизни появилась возможность вязать из красивой шерсти, а не из распущенных сношенных вещей, мама начала составлять яркие своеобразные композиции: одеяла, пледы, платки, которые дарились друзьям в разные улицы, города и страны мира. Больше всего мама боялась, что у неё кончится шерсть. У неё имелась своя неприкосновенная территория: комнатка в одну кровать, — и она уходила туда беседовать с фотографиями. Ясность памяти и мысли она сохраняла до последнего года жизни.

Но странное дело, чем ближе к вечности она подходила, тем память её глубже погружалась в детство. Из воспоминаний ушла война, многие годы бывшая доминантой такого рода, что любые разговоры сводились в конечном счёте к ней, ушла Колыма, даже мой отец занимал всё меньше и меньше мыслей. Но пришли воспоминания об отце-печнике, о том, как он приносил мороженое, возвращаясь летним вечером с работы, как однажды, после ремонта печи карамельной фабрики, вернулся домой вымазанный карамелью с головы до ног и Фрося растворила карамель со всей его одежды и сапог, а потом выпарила, и каждый из детей получил по невиданной конфете — янтарному леденцу величиной с кулак... Ей снился страшный индюк в деревне курской бабушки, куда её крошечную вывезли, спасая от голода...

Мама живо интересовалась политикой и сериалами, небольшой телевизор в её комнатке был постоянно включен. Но в Киеве случился «майдан». Мама смотрела новости, сочувственно относясь к киевлянам, но вдруг увидела на экране молодых людей в полицейской форме и закричала: «Полицаи! Почему полицаи?!» Откуда эти кадры появились, неизвестно, но с этого мгновения началось резкое ухудшение её здоровья. Она на время как будто впала в забытье, а потом заговорила на украинском! Она заговорила на другом языке! «Почему, мама, почему ты так говоришь?» Никто в семье, ни Фрося, ни Макар, никто в ближнем кру-

гу, зная украинский, никогда не использовал его как домашний язык, и вдруг!.. «Прэ и прэ...» — ответила мама. Что случилось с её сознанием, никто не знает. И угасала она очень быстро. Она лежала с полными слёз глазами, взяв кого-нибудь из нас за руку, и молчала. А через три дня после того, как мы собрались к ней на её девяностопятилетие, тихо отошла.

И удивительное дело: её, никогда не покидавшую пределы Союза, отпевали по всему миру, даже на другом континенте!

## МАРИУПОЛЬ

Моя бабушка родилась в девятнадцатом веке. И Мариуполь её детства — мой Мариуполь. Я знал бабушку полной, даже очень полной женщиной, царившей на коммунальной кухне, но рассказы ее — рассказы девочки в золотых веснушках с золотой косой.

В бабушкином Мариуполе солнечное море и привоз. Арбузы и маленькие круглые дыньки горами, пирамиды лакированных «синеньких», то есть баклажанов, и пирамиды мясистых помидоров, то есть «красненьких», прилавки с огромными кусками царской рыбы, связки вяленого рыбца, истекающего жиром, мешки просоленной тараньки, огненные чебуреки, кипящие в масле, спирали кровяной колбасы, розовые пласты сала толщиной в руку и осетровая икра в липовых бочонках.

Воз с арбузами — три рубля, верхний надо придержать, чтоб не скатился. Мочёный арбуз, как мочёные яблоки или морошка на севере, — любимое лакомство Приазовья. Бабушка отличала «кавун» от «кавунихи», имевшей более широкое пятно на попке, куда сходились тёмно-зелёные меридианы; кавуниха, по её словам, слаще. Мне, московскому мальчику, невдомёк, но всю жизнь я выбирал на арбузных развалах только кавуниху. Когда воз с кавунами вкатывали на двор, наступал праздник, детям позволяли есть арбузов, что называется,

«от пуза». Арбузы для солений покупали небольшие, с детскую головку, и малышня их не резала, а раскалывала о коленку, предварительно покатав по земле. Зачем катали? — Забыл... Чтоб сочнее получались? Хотя куда ж сочнее, кавуны-то прямо с бахчи.

Цены на привозе поражают: например, кружка молока — копейка и ломоть хлеба — копейка. Голодающих в приморском Мариуполе быть не могло: если не заработаешь алтын, то выпросишь. Кстати, кусок хлеба в Мариуполе — вовсе не кусочек, а полноценный ломоть, хлеб бабушка резала огромными скибами на себя, прижав к груди буханку.

В Азовском море в те незапамятные времена водились огромные серые бычки, которые плавали у самого берега в песочке и были такими ленивыми, что дети, забредая в море по колено, брали их из воды руками: подкрадывались к рыбине и хлопали по ней ладошкой. Сейчас в море остались лишь чёрные, не длиннее пяди, лучепёрые, которых, строго говоря, и пожарить нельзя, а только вымочить в соли да подвесить на веревочку, чтоб твёрдых, как ремень, сжевать целиком.

Приазовские греки жарили на гигантских сковородах восхитительные чебуреки. Бабушка рассказывала о них с особой нежностью, видно, были по карману малышне: хрустящие, огромные, с поджаристыми пузырьками, надкусишь — и в рот стекает раскалённый сок. Ах, как я хотел этих чебуреков, как грезил ими! И однажды бабуля приготовила мне огромное блюдо. О боги, этого не опишешь! Умолкаю.

Моя бабушка Ефросинья пела в церковном хоре и очевидно, что знала службу хорошо, но мне, пионеру, о том не рассказывала. А рассказывала об одном трюке, который позволяла себе прицерковная малышня. Дело в том, что из блюда с пожертвованиями, которым обносили церковь, заполненную народом, можно было взять сдачу, если ты считал, что положил слишком для себя крупную монету. И детки, по рассказам моей Фроси, иногда бросали в блюдо две копейки, а брали на сдачу гривенник. Представляю, как эти копейки тут же переправлялись в карман «грека-чебурека».

Бабушка любила рассказывать о том, что можно приготовить из свиной головы. Из всего мне запомнилось короткое «зельц». Теперь не скажу, каким в детстве представлялся зельц, но обязательно с хрящиками. И ещё помню про уши, которые, как оказалось, тоже едят — совсем уж бесчеловечно отрезать у хрюшек уши и есть! Бабуля моя, потомственная рыбачка, потрясающе готовила рыбу: жарила в муке и без муки, варила уху и студни. И научила меня разбирать рыбью голову так, чтоб оставалась только малюсенькая горка плоских косточек, и приговаривала, что в рыбьей голове несъедобны только жабры. «И глаза?» — спрашивал я. — «И глаза!» Но глаз с белой твёрдой жемчужинкой внутри я съесть не мог. А что действительно любил из рыбьего, так это тараньку и рыбаца. Таранка, или, по-бабушкиному, «таранька» — азовская вобла, свежая и мягкая. Тараньку обгрызали зубами до прорисованного от головы к хвосту скелета, и даже пузырь, и тот

поедался: подождённый спичкой, лопался и превращался в солёную резинку. Большой рыбец истекал жиром, оставляя под зубами рёбра, острые, как коготь.

Рыбачьи плащи шились из парусины, пропитывались постным маслом и вялились на солнце многократно. Несгибаемый огромный плащ с капюшоном получался невероятной тяжести, будто скроенный из жести. В этих латах рыбаки выходили в море в пути-ну, управлялись с парусами в шторм и стужу, выбирали сети с рыбой.

Бабушка рассказывала, как в войну она готовила детям из жмыха лепёшки, и лепёшки эти были праздничной снедью. Жмых — отжатые в масляном прессе семечки подсолнуха — маслянистый, жирный, твёрдый, как козинаки, по моим представлениям, должен быть невероятно вкусным. И только на рынке города Жданова — того самого, которым именовался Мариуполь целых сорок лет, — когда увидел вожака жмых собственными глазами, я понял, что есть его нельзя. Круг жмыха толщиной в ладонь, жёсткий, чёрный и колючий, состоял из спрессованной шелухи — кто же станет очищать семечки перед отжимом? Я просил у тётки продать мне круг. «Зачем?» — «Попробовать, бабушка рассказывала, что очень вкусно». — «Так то ж в войну было. Ты есть не станешь, этим худобу кормят, — и тётка протянула мне ломоть жмыха. — Возьми».

Никогда я не видел бабушкиных кос. Ефросинья носила косу лет до сорока, дольше — и обрзала, устав

носить её тяжесть. Мой дедушка Макар впервые в жизни накричал на бабушку, когда увидел свою Фросю в красной косынке с короткой стрижкой. Но то ж когда было... Сто лет назад.

Когда бабушка мыла свои рыжие волосы, длиною до щиколоток, дом готовился к событию. Грелась вода в чане, на табуреты ставилось жестяное корыто, волосы укладывались в него, и бабушка, наклонившись, промывала эту грудку, а дедушка поливал из кувшина подогретой водой. В Мариуполе жёсткая вода, и отмыть волосы трудно. Дети — Муся, Люся и Витя — смиренно стояли, вытянув ручки с расстеленным на них длинным мягким полотенцем. Ефросинья разгибалась и, поддерживая руками гору мокрых волос, поворачивалась к детям, и те кидались к ней отжимать кончики, с которых струйками стекала вода.

Так ясно вижу: босая женщина в белой домашней рубашке наклонила голову, волосы стекают рекой, две девочки и маленький мальчик тихо, старательно, чуть толкаясь, отжимают кончики волос полотенцем, в тень комнаты сквозь щели в ставнях пробивается южное солнце.

Этого города больше нет. Разбомблён.



## ЗАПАХ ГОРЬКОГО МИНДАЛЯ

Запахи детства. Смоляной воздух кедровых шишек, бабушкины, из духовки, огненные пироги, мужественный пороховой дымок стреляных гильз, тонкий душок солёной рыбы... Какое блаженство описывать их, какая благодатная тема воспоминаний! Но в моём детстве запахи не водились. Всё было, но запахов не было. Я их сочинил из сегодняшнего дня.

Я появился на свет на Колыме на третий год после войны. «Муся, беги за простыней, молоко привезли!» Ледяные круги кололи на простынях, чтоб не потерять крошки. И объявление в городском парке: «Первого мая, по случаю праздника, торжественное открытие катка!»

Меня откармливали красной икрой, которая, как помнится, не переводилась в вазочке для варенья, и зелёными китайскими яблоками, зимовавшими в углу барачной комнатки за занавеской. Мать плакала, видя, как я отворачивался от драгоценных апельсинов и таскал из ведра картофельную кожуру. Твёрдые и сочные яблоки всю бесконечную зиму жили в ящике, в который я единственный запускал руку, когда хотел. Помню, как рука протискивалась, взрхляя колючие опилки, в поисках почти костяного на ощупь шара. Если порыться, яблоко всегда можно было отыскать. Ябло-

ки пахли опилками, и хотелось бы написать, что запах опилок навсегда... и так далее, но всё не так: опилки — это плотный воздух пилорамы, на которой студентом я распускал стволы на доски. А что до яблок, то однажды они закончились: я разворотил весь ящик, все невидимые углы, колючки просыпались на пол, налипли у локтя — пусто! И я чуть-чуть повзрослел...

В вымороженном Магадане запахи не обитали. Но всё же была в моем младенчестве особенная нота: ветерок навек застуженного Охотского моря. Северное море пахнет томительно остро: прозрачной водой, бесшумно накатывающей по гальке к моим сандаликам, коричнево-красными водорослями, умирающими на границе отлива, тушей выбитого на берег тюленя, разорванного собаками...

И в самой глубине, тайно от всех, храню одно воспоминание.

— Алюха, иди сюда! — отец поставил передо мною медведя из белого мыла. Не такой уж маленький белый медведь с прорисованной мордочкой и коричневыми коготками. Папа, по всему, гордился медведем, золотые молоточки на его чёрном кителе победно блестели! Но ничего особенного, таких зверушек я уже видывал, нам привозили с Большой земли забавные штучки, например, мыльного зайца или дутого шоколадного, зарытого мною в игрушки под кроватью, которого я долгое время грыз по кусочку и снова прятал. Медведь был из мыльных фигурок, которыми взрослые пытались задобрить нас, причая умываться кошмарно холодной водой.

— Ешь, — сказал отец.

— Я мыла не ем, — признаться, я даже обиделся такой шутке.

— Это не мыло, это вкусно.

— Нет!

— Ну и зря!

Отец открутил ногу медведю и съел. Потом открутил вторую:

— Попробуй!

Я знал, что мой папа — фокусник. Я не раз видел, как копейка исчезала в его пальцах у самых моих глаз или он мог вытянуть конфету из уха даже взрослого дяди, а однажды при гостях съел целый кусок мыла.

— Попробуй, дурачок!

— Не буду!

Папа съел вторую ногу. И я испугался: а вдруг не мыло? И ел папа с удовольствием! Конечно, фокусник, но я так близко видел его глаза! А медведь между тем уже не целый, уже без задних ног. Отец открутил третью ногу. Кто это вынесет? Я не мог!

Я взял белую култышку с аккуратными шоколадными коготками в обе ладони и откусил мельчайшую крошку. — Нет, не мыло! Откусил ещё: сладкое тесто с тёртыми крошечками и странный, томный, манящий, еле слышный запах. Я мог бы сказать «запах Востока», но даже тогда, в столь малом возрасте, я знал, что живу на самом краю континента, и на востоке ничего нет, на востоке — Запад.



КИТАЙСКИЙ КОВЁР  
С РОЗАМИ

*Неоконченная повесть*

*Я так много раз начинал и бросал эти записи.  
Отчего? Не знаю. Возможно, не было адреса,  
единственного человека, которому они нужны.  
Теперь я узнал, не понял, а именно узнал,  
что пишу только тебе, тебе одному.*

Я родился в Магадане 22 октября в 4 часа утра местного времени, что и записано в свидетельстве о рождении. Однако магаданские 4 часа утра в Москве приходятся на 8 вечера предыдущего дня. Понимаешь, западнее Магадана мой день рождения наступает уже 21-го числа! А западнее Магадана вся планета. Ты только представь, какой подарок преподнесла мне астрономия: вполне законно я начинаю праздновать день рождения 21-го числа, а заканчиваю 22-го!

Я родился в послевоенном 48-м году, Магадан имел в то время больницу не лучшую, роды проходили тяжело, и про меня забыли... Ну, не совсем забыли, просто кинулись спасать маму, а меня очень сильно простудили.

Затем в детстве я ещё несколько раз болел почти до смерти, а затем, став старше, запретил себе болеть. И больше не болел.

## КОВЁР С РОЗАМИ

В детском саду в Магадане я прожил до самой школы. То есть не прожил, как в интернате, а папа каждое утро относил меня на плечах в детский сад и вечером забирал. На его плечах я провёл первые три года жизни, и нас знал весь Магадан.

Детский сад был очень хорошим, я его любил. Посередине большой комнаты лежал огромный китайский ковёр с пионами, которые между нами назывались розами. На время дневного сна, «тихого часа», в зале выставлялись ряды кроваток. На ковре с розами мы проводили весь день. Обедали на небольшом возвышении ближе к окнам, где всегда стояли столы.

На ковре мы собирались в кружок на праздники, и каждый мог показать свой номер. Меня, как «интеллигентного ребенка», ставили рассказывать стихотворение, но однажды я решил предьявить публике трюк, которому только что научился, и встал на голову. Хорошего мало — от старания я пребольно шлёпнулся на спину.

## РЕЗИНКА ОТ ЛИФЧИКА

Один из детсадовских праздников прошёл так весело, что, придя домой, я пересказал его папе и маме от начала до конца, сопровождая музыкой и пением.

В те времена, очень бедные, сразу после великой и страшной войны, дети носили не колготки — мы и слова такого не знали, — а чулочки, которые пристёгивались к упругим ленточкам, нашитым на лифчик. Лифчики застёгивались спереди, так, чтобы мальчики и девочки могли надеть их сами. Ценнейшим в лифчике были тонюсенькие резиночки внутри упругих лент, дразнящие живыми кончиками изо всех дырочек и щёлок. Мы зубами вытягивали их из лент для музыки и рогаток.

Прикусив кончик резинки и натянув её, я выщипывал на струне разнообразные «блям-блям». И дома отыграл все номера праздника так ловко, что папа сказал: «Ребёнок гениальный, надо учить!» Мой папа очень боялся проглядеть во мне какой-нибудь талант.

Папа тут же купил мне саратовскую гармошку с колокольчиками. Гармошка радовала меня и папу дня два или три. А потом я её задвинул под кровать. Этим бы дело кончилось, когда б мы жили не в Магадане. Потому что в нищете магаданских бараков люди жили дружно. По нашему второму этажу прогуливалась малюсенькая девчушка лет двух-трёх, то есть вдвое меньше меня. На её улыбчивом якутском личике всегда блестели узенькие хитрые чёрные глаз-



ки. Гармошка перешла к ней в руки, и руки гармошку не выпустили. Вот истинный талант! Девчушка играла день и ночь. Так и вижу: бесконечный коридор, длинный ряд табуретов с примусами и между ними девочка с гармошкой на коленках на своём низеньком эмалированном горшке.

\*\*\*

*Всё же я боялся публики, да и сейчас боюсь, если честно. Бывает, выйдешь к зрителям, глянешь, и как будто мешком накроет: зачем, зачем я это делаю? Зачем всё затеял?..*

## КУБИКИ

Вы же сами знаете, кубики разными бывают: просто кубики или с картинками, с буквами бывают, приклеенными на тонких бумажках, обдерутся быстро, и ничего не разберёшь. Сложишь рисунок из четырёх кубиков, и всё — занятие совсем малышное.

Но однажды в детский садик привезли большие деревянные кубики, очень большие, одной рукой не взять. Я в них влюбился, просто захватил и никого не подпускал! И начал строить дом. В углу ковра сложил крепость с единственным входом, забираясь в неё, закладывал лаз, раздвигал маленькое окошко и сидел там часами, наблюдая из укрытия за жизнью.

## ХРУСТАЛЬНЫЕ КУПОЛА

Зимой в пургу, не услышав предупреждения по радио, папа погрузил меня в санки и повёз в детский сад, ложась на ветер. Каждый шаг давался таким напряжением, что папа не чувствовал сопротивления верёвочки, и на каком-то повороте сына, то есть меня, выдуло из санок, как пушинку. Кинувшись от детского сада назад в пургу, папа счастливо нашёл тёплый, припорошенный снегом кулёк, освещённый неверным светом качающихся фонарей, будто в кошмарном сне. А я ничуть не замёрз и сладко дремал.

Морозный воздух звенел, как стекло. Но мы мороза не боялись, гуляли в садике и даже придумали замечательную игру. Ртом из слюны выдували пузыри и налепляли их на рёбра промёрзшей песочницы, а мороз превращал пузыри в крошечные хрустальные купола. Нам казалось: если выдуть большой шар, под его сводом можно жить. Чудилось, что под куполом тепло, и я бесстрашно снимал рукавицы и протыкал пальцем ледяную сферу, чтобы согреться.

## КОМПОТ

Обед в детском садике собирали на наших глазах на возвышении под высоченными окнами, будто на сцене: первое, второе и третье в строгом порядке.

Манипуляции у квадратных столиков гипнотизировали, стаканы с вожденной влагой возвышались над тарелками. Приближаться строжайше запрещалось, но от ковра мы безошибочно определяли уровень компота в каждом гранёном цилиндре, светившемся в лучах оконного света. Это только нянечки думают, что черпаком разливают по стаканам равное количество. Но, как знаете сами, двух равных стаканов с компотом не бывает: или много яблок — мало янтарного узвара, или только сок — нет блаженной сласти разваренного изюма. Ах, какое везение — чернослив, и счастье — жевать сморщенную грушу со скользкими кисловатыми семечками! И горе, если стакан завален безвкусными яблоками с несъедобной звездочкой перепонки в центре...

Поэтому за разливанием компота следили пристально, к столам бросались стремительно, оценивая на бегу расстановку блюд, и, толкаясь, шлёпались на стул у счастливого стакана.

В тот день я вырвался вперед, весело плюхнулся у премиального компота и макнул в него палец, согласно закону о собственности, действовавшему во всех детских садах Советского Союза. А напротив угнезвился Вовчик, всегдашний мой враг. Я, торопясь, хлебал щи, давился гречневой кашей, грыз подсохший хлеб и неотрывно любовался своим компотом, наслаждаясь ожиданием. Но как за ним угнаться? Вовчик проглотил щи, гречку, хлеб и, глядя в упор, потянулся к моему стакану. Я задохнулся, ведь я палец макнул! «Ну и что?» — сказал Вовчик и выпил компот. Как страшен и несправедлив бывает мир!

## ПОЛЯРНЫЙ ГОСТЬ

Однажды в Магадане мне подарили зайца. Не игрушечного, а настоящего, живого: белого с чёрными кончиками ушей. Привезли для меня охотники, папины студенты. У папы были очень взрослые студенты, многие фронтовики, как папа.

Заяц, выбравшись из мешка, осторожно перебирал лапками и присаживался. В поисках места аккуратно переступил через тапочки и ушёл под кровать, будто в нору. Полярный заяц не маленький зверёк, а сильный нетрусливый зверь. Мощные задние лапы с такими когтями, что, защищаясь и падая на спину, заяц вполне способен распороть живот хищнику. Полярные совы, охотясь, бесшумно нападают сверху и одной когтистой лапой впиваются зайцу в спину, а другой — в дерево, у которого он прятался, и обездвиженного заклёвывают. Так вот, охотники находили зайцев с торчащей из спины лапой совы! Зайцы вырывались так мощно, что разрывали сову пополам! И такого полярного зайца привезли мне из снежной колымской тайги.

Я лазил к нему под кровать посмотреть, как в самом дальнем уголке он грызёт капустный лист, иногда пытался погладить мягкую шубку. Заяц отстранялся дальше в угол и замирал, я ему не нравился. Брать на руки зайца не разрешалось — таёжный зверь действительно мог ударить когтями. Жить у нас в комнате зайцу было скучно, и папа отнёс его в Магаданский краеведческий музей.

Мы с папой навестили его дважды. Мой заяц выбежал ко мне из-за якутской яранги, в которой жили гипсовые фигуры якутов в настоящих меховых одеждах. Мне казалось, он радовался, прядал ушами с чёрными кончиками и выглядел довольным. Я даже немного обиделся за то, что ему так хорошо без меня. Но в другой раз я искал и не нашёл его, а у яранги на задних лапках в позе вопросительного ожидания стояло его чучело. Я рыдал и не верил, что он умер сам. Не верил.

## ДУТЫЙ ШОКОЛАД

Был у меня и другой заяц — шоколадный, не живой. Представьте, дорогие, пятилетнего мальчика из далёкого послевоенного Магадана, получившего вдруг в обе руки целую шоколадную скульптуру! Богатство — непосильная тяжесть для юной души. Сокровище я спрятал от людских глаз. Оглядываясь, залезал под кровать, вынимал зайца из хрустящего серебра, разок откусывал, ещё разок, снова заворачивал в фольгу и прятал в ящик с игрушками. Но увы, заяц быстро таял, будто грыз его не я в одиночку, а рой невидимых мне врагов. И, о ужас, он оказался пустым внутри, понимаете, надутым!

Я ни с кем не делился, даже с папой, но однажды к нам домой пришла моя воспитательница из детского сада. Лет шестнадцати, сирота, по взрослым понятиям,

девочка, для меня пятилетнего она была воспитателем и тётёй Верой. Папа помогал ей поступить в горный техникум, в котором преподавал. Тётя Вера была улыбчивой и какой-то искренне милой.

Подумать только, мой воспитатель приходит ко мне в гости и приносит мне в подарок свитер верблюжьей шерсти, очень толстый и колючий! Она так нравилась мне, я так её любил, что полез под кровать к своим сокровищам и вытащил на свет божий ухо шоколадного зайца — самый последний треснувший кусочек, втиснутый в истерзанный комок фольги. Там, в темноте, я развернул его, слизнул крошку и вылез к людям.

Что сказать... Она от моего подарка отказалась. Но вы бы видели её глаза. В них я впервые в жизни прочитал и понимание того, как мне этот шоколад дорог, благодарность, нежность и... брезгливость!.. Да-да! Уж очень замусоленным был кусочек шоколада, хранимый под кроватью. Глаза её я запомнил навсегда. И ещё помню неловкость отца.

## МЯЧ НА ТРАВЕ

Как-то весной в садик принесли новый, резиновый, блестящий, четырёхцветный мячик.

Воспитательница задерживалась, а мячик дала мальчишкам вынести во двор, но не играть. Без неё не играть. Зачем она это сказала? Как можно не играть?

Да новым мячом? Мальчишки выбежали на траву, редчайшее для Магадана наслаждение, и тут же поскакали, заиграли, забегали! Я видел их в проём двери на солнце, и как же рвалась к ним моя душа, но сказано: нельзя! А они играли... Я выскочил в дверь: «Нам же не разрешили!» А мне в ответ: «Разрешили!» И вместо того чтобы побежать с пацанами и мячом, я кинулся к воспитательнице переспрашивать! Можете представить? Не помню, что ответила воспитательница, но я услышал фразу, сказанную кухарке с изумлением: «Ты представляешь, он подошёл ко мне и спросил, можно ли играть?!» И понял, как ни был мал, догадался, что речь обо мне.

По сей день, скоро три четверти века, не могу понять: почему тот мальчик не стал играть со всеми, а пошёл спросить разрешения?

\*\*\*

*Сегодня июль. Я сижу на веранде рано утром. Солнце светит в спину, а листья, на которых пишу тебе, в моей тени. Утром ещё никто не встал. Я очень люблю эти ранние часы. Дорожу ими для работы. Для душевного отдыха. Но с утра тысячи мелких дел, разоряющих время. Умыться, попрыгать на скакалке – я много сижу, – сварить кофе – я пью в тишине кофе – и вынести для кофе молоко, не скрипнув замком... И вот я брожу по тихому дому и теряю минуты. Это смешно. Вместо того чтобы выйти на веранду и наслаждаться*

*жизнью, я трачу тысячи секунд на то, чтобы под-  
готовить себе площадку для наслаждения! Поду-  
май сам: смешно же!*

*Наконец кофе сварен. Заправляю ручку с золо-  
тым пером чернилами, очень хорошими, купленными  
специально для этой ручки и для этих писем. Капаю,  
как водится, чернилами на пальцы, теперь у меня  
пальцы школьника, будто шестьдесят лет назад.  
И начинаю писать тебе письма.*

*Возможно, меня уже не будет, когда ты их про-  
читаешь, но я мечтаю о том, нет, надеюсь на то...  
Нет, не сумею сказать... Я молюсь о том, чтоб ты  
нашёл в них частички, черточки, штрихи моей люб-  
ви к тебе... и моих слёз.*

*Честно сказать, даже не предполагал, что рас-  
сказы о магаданском садике займут так много ме-  
ста в тетради. Предполагал страниц пять, а тут...  
Даже начал заполнять обороты листов.*

*Сейчас лето. Расскажу о грибах.*

## ГРИБЫ МАГАДАНСКИХ СОПОК

Магаданские сопки покрыты кедром — странны-  
ми, мелкими, стелющимися по земле кустами. Всё тот  
же кедр с кедровыми шишками, правда мелковатыми,  
но прижатый тысячелетними приморскими пассатами  
к земле до пояса взрослого человека. Ну, может быть,



выше... Не знаю, я ведь его взрослым не видел. Так что мы, малыши, ходили под кедрами, а взрослые — над кедрами и нас не видели. Кедровый стланик.

В июне-июле в Магадане бывало тепло. Магадан стоит на широте Ленинграда, но климат суровый, и летние солнечные воскресенья в Магадане — праздник. Весь Магадан выбирался за город, в сопки, к речкам, на травку. Две речушки со стылой — не войти — водой: Магаданка и Каменушка. В сопках мы и собирали грибы.

Родители расположились на полянке, а мы нырнули в стланик. Заблудиться в стланике — одно мгновение, но дети как-то ухитрялись находить своих в сетке веток. Здесь, под кровлей стланика, я впервые увидел грибы: огромные, роскошные, с крепкими шляпками, красные, коричневые, масляно-блестящие, на толстых бело-серых ножках, с чудесным острым, сочным, пьянящим, незабываемым запахом. Солдатики стояли шеренгами в великом множестве. Сначала я бегал с каждым к маме, но бросил это хлопотное дело и решил складывать их в горки. Довольно быстро горок образовалось так много, что мне понадобилась тара, и я побежал на поляну.

Взрослые занимались своими взрослыми делами, разговорами, прижавшись к постеленной на траву скатерти, выкладывали из чёрной коленкоровой сумки еду. Попытались накормить меня, но я вывернулся и убежал к моим грибам. Я летел к ним — и не нашёл, оставил здесь — но их не было! Заблудился. И начал сначала.

Собрав гору лучше прежней, я решил поступить умнее: пометить клад, но как? Как отметить место в хаосе низкого лапника, кустов, полянок? Только сверху, только со стороны, только взлетев над сопками! И я придумал: бросал вверх палку и, отбегая в сторону, старался запомнить очертания леса в том месте, куда палка падала. Да, именно так: бросал палку со всей силой вверх, отбегал в сторону и, взлетая над лесом, запоминал. Затем выбрался на поляну, схватил уже опустевшую кирзовую сумку и помчался в свой тайный лес.

Мои дорогие! Я не нашёл своего клада. То, что мне казалось таким ясным, таким простым — увидеть лес с высоты летящей птицы, оказалось невозможным для маленького пятилетнего мальчика. Богатство воображения сыграло со мной шутку.

Как во сне, метался я по закодированному лесу — и не находил ни своих деревьев, ни грибов. Никаких. Их не было. Они все ушли.

## СОЛДАТСКАЯ ПРЯЖКА

Все мы, магаданские дети, болели рахитом. Не уродцами, конечно, были, но болели косточки — не хватало витаминов, а главное, не хватало солнца. И взрослые, чтобы нас спасти, придумали облучать детей синим светом кварцевых ламп.

Нас раздевали, клали на животик на длинном белом столе, надевали тёмные очки, выпуклые, как маска, отчего мы казались себе лётчиками или военными мотоциклистами, и включали необычную синеватую длинную лампу. Но... Медсёстры по неопытности и от старания положили меня первого не на три минуты, как положено по инструкции, а на десять. И «сожгли».

Слава Богу, всё обошлось, но я очень хорошо запомнил ужас врачей, отца, медсестёр, запомнил длинных червяков вазелина, которых выдавливали из тюбиков на моё воспаленное больное тело...

У нас дома потом была своя собственная синяя лампа в железном абажуре. Тёмно-синяя колба, дающая ужасный смертоносный свет.

А солдатская пряжка — фронтовая пряжка с ремня отцовской гимнастёрки. Гимнастёрки не помню, возможно, к 53-му году её уже не было, а пряжку со звездой помню ясно. У армейских пряжек особая конструкция: они хорошо держатся только на туго натянутом поясе.

Эту пряжку дал мне отец, чтобы я не боялся переливания крови. Я зажимал её в руке и не должен был бояться. Кровь мне переливали напрямую из руки в руку. Отец сидел на стуле у моей кровати, сжимал и разжимал кулак, а я лежал, прижав пряжку, слушал его тихий разговор и смотрел на вздувшуюся на руке вену. Мне казалось, что он терпит боль, но просто не даёт виду. И я очень его жалел.

## «СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»

В Магадане зимою темнеет рано. Очень рано. Зимою солнце почти не показывается. С работы и на работу ходили в темноте. И в детский садик меня возили в темноте, и в темноте привозили домой. Из нашего барака, мимо других бараков, мимо магазина, вверх по улице Коммуны, через площадь, на которой стоял огромный Дом культуры. В ту пору мне всё казалось огромным — я на всё смотрел снизу. На ДOME культуры четыре неживых человека — чёрные контуры на сером небе и сейчас вижу, как прикрою глаза.

В Магадан приехал оперный театр, и смотреть «Севильского цирюльника» пошло всё население города. На Колыме оперу смотрели, а не слушали, я, например, до сих пор так говорю. Думаю, папа не хотел оставлять меня одного, но не пойти на оперу было... ну, как это сказать... В общем, у колымчанина не было выбора: идти — не идти.

Родители дождались, когда я усну, заперли дверь и тихонечко ушли. Мама надела лучшее платье чёрного бархата с бриллиантовой брошью, подаренной папой, а папа пошел в кители с золотыми молоточками в петлицах. Оба были очень красивыми: чёрный бархат, чёрный китель, золотая виньетка с бриллиантом, золотые молоточки. Заперли меня в барачной комнате и ушли. Обычно оставляли ключи соседке тёте Моте, а тут не оставили.

Я проснулся в темноте, а может быть, и вовсе не спал, встал с тахты, где мне было постелено в уголке, подошёл

к двери, лёг на пол и стал смотреть в щель под дверью на свет в коридоре барака. Я лежал и плакал.

Тётя Мотя услышала меня, села под дверью и тихонько утешала. Все часы «Севильского цирюльника». Когда родители вернулись, отец от волнения не открыл, а вырвал замок, схватил меня на руки и прижал к себе. А я, потеряв голос, смог только просипеть: «Вы уже пришли?..»

## ЖАРЕНАЯ МУХА

Второй этаж барака, подальше от промёрзлой земли, — привилегия. Мы жили на втором, зато на первом этаже недалеко от входа располагалась общая кухня.

Кухня с её полутьмой, шумом, запахами и строжайшим запретом заходить манила нас. Центральную часть кухни загромождала огромная кирпичная плита с множеством конфорок, отороченная по верху железным вечно раскалённым уголком. Огонь в плите дровами и углём поддерживал тихий доходяга дневальный, обитавший в самой холодной комнатухе у входа. Зимними вечерами, когда снегом заваливало двери барака, когда смертельная стужа сковывала Магадан, почти не видевший солнца, когда пурга вихрем врывалась за каждым входящим с поднятым воротником человеком, когда на скрипучей лестнице, ведущей наверх, нарастал сугроб, после громогласного кухонного

рабочего дня плита медленно остывала, отдавая тепло. И тогда полутьму кухни населяли дети, среди которых был и я, Алик.

Нас человек семь на весь барак. В играх заводилой я не считался, но однажды девчонки, выбирая самого красивого мальчика, на роль «красюка номер один» назначили меня. «Красючку» тоже назначили, но о ней я не помню. Я был красив почти так же, как ты, мой сынок. Повидаться нам, детям, возможно было только здесь, и мы бегали вокруг тёплой плиты, а то тихо сидели на табуретах кружком и пересказывали страшные истории, полнившие Магадан.

Зимой, году эдак в 54-м, когда всем показалось, что жить стало полегче, в барачной кухне ожили мухи. В лютую стужу — и мухи. Чёрные, толстые... И в ту же зиму на нашей кухне появился воробей! Откуда? Наверное, взрослые нашли слабого замёрзшего и отдали нам. Но сами посудите, в сорокаградусный мороз живой воробей на улице! Мы гладили воробышку в очередь, девочки укрыли одеяльцем, носили на руках, толкались и мучили, не зная, как ещё приласкать. И вот вопрос: чем его кормить? Что воробьи любят? Как самый начитанный, как инженерский сын, я настаивал, что воробьи любят жареных мух. По сей день в памяти неизвестно откуда выпавшее: «И кормили воробья жареною мушкой». Ах, как мы металась по кухне, и самые ловкие ловили мух горстью, как старались пожарить мух на сковородке, украденной из чьего-то стола, и как мухи взлетали

с разогретой сковороды, а мы снова скакали, ухитряясь не напороться на острые рёбра печи и углы табуреток и столиков, выстроенных вдоль стен... В общем, из нашей затеи ничего не вышло.

## КОРОБОК СПИЧЕК

Стыдную историю всё же расскажу.

Я нашёл в снегу коробок спичек. Сугробы зимою огромные, выше детского роста, а бывало, и повыше взрослого. Тропинки пробивались узкие, двоим не разойтись, и люди ходили, не видя, с кем они столкнутся нос к носу за поворотом. Как мы вдвоём с приятелем оказались на тропе, не вспомнить, но у магазина в снегу он нашел 25 рублей, а я — коробок спичек, почти полный. Спички представляли для нас огромную ценность: в деревянном городе детям в руки спичек не давали.

Пожар вообще страшен, но пожар в Магадане! Если на сопках горела тайга, детей готовили к эвакуации, а мужчин призывали, как на фронт, на тушение пожара. Огонь в деревянной конторе «вохры» собрал весь город, говорили «поджог», уж очень «вохру» ненавидели. Пацаны тогда набили карманы красными книжечками, разбросанными в снегу, но секретные документы быстренько отобрали у нас охранники в тулупах.

В один час мы обрели богатство — деньги и спички. И случилось вот что: я убедил приятеля поменяться,

отдать мне 25 рублей за коробок спичек. Спички, конечно, — предмет вожделения, но всё же я догадывался, что деньги ценнее, и обманул его. Я принёс домой 25 рублей — красивую серьёзную бумагу — и похвастался добычей. Я ждал похвалы. Но реакция отца меня удивила, даже напугала. Он смотрел на меня странно, будто впервые что-то заметил, с тайным сожалением.

— Ты знаешь, сколько стоят спички? Вот этот коробок, — папа поднял коробок, — 10 копеек. Надо вернуть.

Боже мой, как мне было стыдно! Я плакал, но пойти и вернуть? Нет, невыносимо...

Эта история навсегда, на всю жизнь отбила у меня охоту к коммерции. До сего дня я так и не научился продавать. Неправильно, совсем неправильно! Но я не могу.

## ГОЛУБОЙ ПИСТОЛЕТИК

На площади стояла большая цилиндрическая будка, остеклённая почти до земли. В ней продавали газеты и детскую мелочь. В сегодняшней Москве похожие будки есть, но какие-то скучные, квадратные, наша была лучше, и в ней продавались сказочные вещи, которые не водились в других местах. Здесь я купил свою первую книжку — «Корейские сказки» с пляшущим журавлём на обложке, сказку про журавля помню и сейчас. В ней же я увидел голубой пистолетик.



Пистолетик лежал в самом низу витрины у колен взрослых, и его никто не замечал. Он просто соскользнул с прилавка и завалился вдоль стекла, прижатый пёстрой всячиной. Какое счастье!

Поднявшись на цыпочки, я позвал продавщицу:

— Тётя! Мне пистолетик.

— Нету у меня.

— Вот он, вот здесь! — я очень волновался.

Тетя вылезла и обошла будку:

— Ишь, глазастый! Три рубля.

Три рубля — много, я знал, и помчался домой. К счастью, мама ещё не ушла.

— У нас нету денег.

— Есть, есть! — закричал я в слезах. — Вон там, в шкафу!

Мама заплакала. Я её обидел. Но в горячке не имел возможности разбираться. Я очень торопился. Пистолет мог исчезнуть в любую секунду. Запахавшись, я прибежал к киоску и отдал деньги, зажатые в кулак.

Боже мой, какое блаженство держать в руках холодящий металл... Узкий изящный голубой пистолет! И коробочка пистонов. Бумажных круглых пистончиков с бугорком запала, просвечивающего красноватым порохом сквозь бумажку.

Я не расставался с пистолетом несколько дней и ночью клал под подушку. Он мне казался волшебным. Было лето, и я не помню ничего: ни приятелей, ни игр — ничего, только солнце и счастье обладания этой чудесной вещью. И ещё помню восхитительный запах пистонов после выстрела. Я носил писто-

летик за поясом своих штанишек или в мелком кармане, откуда он постоянно выпадал, если я спешил. Чаще всего, конечно, я носил его в руке. Но случилось ужасное.

Страшен туалет магаданского барака с его вонью и щелями в полу. Описать невозможно — и трудиться не стану. Малышом боялся переступить щель меж скользких досок, чёрная бездна струилась из щели и ждала... И как-то, когда я, забежав наспех, снимал штанишки, пистолетик вывернулся из кармашка и рухнул прямо в щель. Я похолодел: над полом торчал небесно-голубой уголок его рукояти. Наверное, можно было сбегать на улицу, найти щепочку, аккуратно подцепить, но я будто потерял сознание. Видел только смертельно грязный пол, узкую страшную дыру и светящийся голубой уголок стали. На коленях я склонился над ним, пытаюсь просунуть пальцы между досок, тронул холодный металл... И пистолетик улетел в ад.

## ВЕРХОМ НА ГОРШКЕ

Маленьких мальчишек трудно научить садиться на горшок. Не любят этого дети, потом привыкают, а вначале не любят. Особенно не любили горшки мы, послевоенные дети, наши горшки были эмалированными холодными кастрюльками с ручкой. Садиться на холодный горшок голой попой... сами понимаете.

Но в детском саду, куда меня привели, всех детей высаживали на горшки одновременно и без возражений. Мальчиков и девочек заводили в туалет с кафельным полом, и по команде, мгновенно, скинув штанишки, мы плюхались на горшки, сразу начиная катание. Перебирая ногами по полу, мы ездили на горшках по всему помещению: встречались, разъезжались, объединялись в кучки, обсуждали свои дела — и никогда не сталкивались. Вставать без команды не разрешалось, нянечку, заглянувшую в туалет, мы мгновенно окружали, не вставая с горшков, и смотрели вверх, как на монумент. Кафельный пол под эмалированными горшками чуть поскрипывал, что придавало плавному скольжению особый шик.

Как-то папа, забирая меня из детского сада, с восторгом наблюдал это броуновское движение горшечных молекул и, говоря о воспитании, утверждал, что лучший учитель ребёнка — другой ребёнок.

\*\*\*

*Сегодня ко мне прибежал лесной заяц, у меня нет забора — так, колья да жерди. Выскочил на середину двора, даже не двора, а песочницы, которую я для тебя построил, и присел. От лисы спасался? Я замер. Ах, как бы хорошо нам смотреть на него, ранним утром завернувшись в одеяло и прижавшись друг к другу! Зайчик посидел с минутой сгорбившись — и вдруг сиганул к плетню и умчался.*

## МУШКЕТЁР

В школу я поступил почти в восемь лет, то есть в 1956 году. За год до того, когда мне ещё не стукнуло семь, врач, обсуждая мою будущность с папой, советовал: «Пусть гуляет. В армию успеется». Да, армия присутствовала в размышлениях, в армию предстояло идти сразу после школы.

Наша Первая школа возвышалась на той же площади Магадана, что и Дом культуры с чёрными фигурами по фронтому. Собственно, школ было две: номер один и номер пять. Красное пятиэтажное здание с бесконечной белой лестницей, украшенной двумя, в рост первоклассника, гипсовыми шарами, разделялось железной сеткой внутри — ровно посередине, по всем этажам, по центру коридоров. Когда-то Первая школа обучала только мальчиков, Пятая — только девочек, но к моему семилетию раздельное обучение отменили, а две школы в одном здании остались.

Мы прилипали к сетке, вглядываясь в жизнь «той стороны», волшебной, как казалось, а дети из зазеркалья в таких же, как у нас, серых формах и коричневых платяцах прижимались к сетке, разглядывая нас. Моя сестра училась в школе № 5 в пятом классе, я в школе № 1 в первом. Я выискивал её сквозь железный занавес на каждой перемене, она подлетала, и мы в неловкости опускали глаза...

Из жизни первого класса я запомнил так мало, что нечего рассказать, но новогодний бал помню. Потому что к этому балу мне сшили костюм мушкетёра!

Все мальчишки мира мечтают стать мушкетёрами, неважно, читали Дюма или нет! И я мечтал классе в третьем, но в первом? Ах, не помню... Мы не играли в мушкетёров, и кино такого не видели, и телевизор не имели — мы играли в войну, которой был напоён воздух. Однако мушкетеры — так шикарно! И мне всей семьей шили настоящий тёмного бархата костюм, на плечах белый, бабушкиных кружев, воротник, на ботфортах отвороты, в шляпе страусово перо, не вру, и шпага слепила сталью, обтянутая фольгой от шоколадки.

Мы вошли в школу с мороза вдвоём с папой. По шуму из зала догадались о начале конкурса, где-то, чуть не в туалете, переоделись, папа закоптил специально припасённую пробку и нарисовал мне заливчатские усы.

Я был великолепен и знал, что великолепен. Мы запаздывали, дверь в зал уже закрыта, конкурс шумел, нам оставалось лишь отворить врата и войти!

Но я не вошёл. Туман, глухота, морок... Делаеть усилие, но, как во сне, не можешь двинуться... Я заплакал. Отец, которому я доверял абсолютно, не мог уговорить меня. И он остался со мною за дверью зала в коридоре. И в дальнейшей жизни случалось такое, будто вдохнул отравленного газа. Собой не владеешь. Ах, мой мальчик, сынок, в тебе это тоже есть, я знаю. Как мне за тебя страшно!..

Мы не ушли, — быть может, папа надеялся, что одумаюсь, — бродили в полутёмном школьном коридоре,

разглядывая вверху на стенах портреты. И вот овации в зале, двери откинулись, разноцветная толпа выкатилась в коридор... и обмерла. Громко, как в микрофон, услышал: «Да вот же оно, первое место!» Но было поздно.

## СТАКАН СЕМЕЧЕК

Улица Коммуны направо в гору вела к центру, а налево — вниз к порту.

На нашей стороне по Коммуне, как коробки спичек на ребре, стояли бараки, напротив — каменный дом, обнесённый крепостным забором. Наш барак — сразу за магазином, если спускаться с горы. Шагов триста вниз перекрёсток: направо — деревянный клуб, в который мы бегали на каждый любимый фильм по десять раз, налево — базар. На базаре наборами и штучно продавалось не пойми что, но меня манили только семечки. И, улизнув от бабушки, я сбежал из дома. Отлучаться от барака малышне запрещалось — не просто опасно, а очень опасно, потом расскажу... Но семечки были моей страстью. И я пошёл по улице Коммуны до перекрёстка и от перекрёстка влево, по той дороге, что ходили с бабушкой.

В нашей крошечной комнате жили папа с мамой, мы с сестрой Эллою и бабушка. Младшая бабушкина дочь Люся тоже сначала жила с нами, но скоро вышла

замуж за дядю Толю. Бабушка, урождённая рыбацка с Азовского моря, вдова печника, большая, полная, властная, царила на барачной кухне, брала меня с собой на базар и учила щёлкать семечки. Если вы думаете, что шелушить семечки — простое дело, то заблуждаетесь! Щёлкать надо очень быстро, одну за другой, не класть, а вкидывать по одной в рот, споро работать языком и успевать сплёвывать кожуру. Иное дело, кстати сказать, — кедровые орешки, которые расщёлкиваются поперек, обнажая вытянутое ароматное ядрышко. В общем, дело требует сноровки.

Сбежав из дома, я отправился по летнему дощатому тротуару вниз, в сторону моря. Деревья на нашей улице не росли — лето обозначалось тем, что люди ходили не в пальто, а в кофтах и пиджаках, — по левую руку ряд бараков, за ними вдали — тёмная сопка. Прохожие оглядывались на меня с недоумением, ища взглядом взрослого, но я шёл по деревянному тротуару так уверенно, что меня до времени не останавливали. По нашей улице никто не гулял, только по делам и быстро.

Денег у меня, конечно, не было, однако я знал, что если встать перед тётей с семечками и смотреть, просто смотреть, то она обязательно насыплет в карман, зачерпнув из шелестящего мешка, половинку стакана. В моём детстве все стаканы были тяжёлыми и огранёнными, а тонкие лёгкие с двумя золотыми полосочками по краю я с изумлением увидел только в поезде, увозившем нас в Москву из Хабаровска. С замиранием сердца шагнул я под ажурную арку магаданского рынка и... глазами

в глаза столкнулся с мальчиком моего роста, но леденяще странным. Бескозырка с ленточками заломлена на темени, тельняшка, мешок с семечками на земле, стакан, воткнутый в семечки вверх дном... Как я любил всё это! Но цепенящий страх вызывали его тяжёлые огромные плечи и очень большая улыбающаяся голова. Миг и ещё миг мы стояли друг против друга, два человека: мальчик и молодой красивый матрос с живыми ленточками бескозырки. Матрос смотрел на меня весело и страшно. Его мощный торс уходил в короткую кирзовую подушечку, стоявшую прямо на пыльной дороге.

— Семечек хочешь? — матрос оттопырил мне карман и всыпал, блеснув гранями, полный стакан.

Я молчал.

Кто-то подошёл ко мне, взял за руку и увёл с базара. Больше я туда не ходил.

## ПОМИДОР

Помидор в моём магаданском детстве был не едой, даже не лакомством, а чудом. Как ананас. Больше ананаса! Ананасы росли в железных банках с очень красивыми иностранными картинками, кружочками и сразу в компоте. А помидоров где взять? Помидоры — это красная несъедобная паста. Но колымчане всё же возят детей в отпуск на Большую землю, на юг к тёплому морю, к фруктам, к солнцу! И к пяти годам, что такое помидор, настоящий,



красный, круглый, в атласной кожуре, на зелёной остро пахнущей веточке, я знал. Именно такой огромный солнечный плод покоился на стилом прилавке воскресного магаданского базара. Праздничные базарчики были новостью и размещались в центре города у парка.

\*\*\*

*Городской парк Магадана — это подвиг какого-то неизвестного мне командира. На стройках вырубают всё, а он поставил часовых в центре будущего города защитить деревья, и в результате молодой Магадан получил парк с вековыми соснами! Мы играли в этом парке, бегали, он казался нам бескрайним. И я помню огромные сосны и пространство между ними. И знаешь, малыш, похожая история приключилась в Нью-Йорке! Знаменитый на весь мир Центральный парк Нью-Йорка создан заботой офицера, силой заставившего строителей сохранить лес в центре Манхеттена. Мы когда-нибудь погуляем в тех парках, ты и я...*

Да-с, помидор. Вспоминая лето в Молдавии, Крыму, на Кавказе, — отпуск у магаданцев очень длинный — мальчик упросил, нет, «уныл» маму купить его. Плод стоил бешеных денег! Сумасшедших. Мы несли его домой бережно, как арбуз. Дальше писать не буду. Помидор, который вырос без солнца, не может быть вкусным.

Но чтобы не было так грустно, а то колымские истории получаются какими-то невесёлыми, расскажу о помидорах Дефановки.

Много позднее, когда из Магадана уже уехали, мы жили на Северном Кавказе в маленьком домике, в станице, и имели огород, засаженный помидорами и огурцами. Больше ничего мы с папой выращивать не умели, а помидоры и огурцы на солнце росли сами собой, только поливай. Поливал я, таская вёдра с реки, протекавшей прямо у нашего тына, мне стукнуло двенадцать, и папа называл меня «отрок». В общем, отрок бегал в гору с вёдрами полить помидоры, но бегал неохотно, как все, надо сказать, отроки.

Тем не менее помидоры и огурцы росли с бешеной энергией, и каждое утро отрок собирал с градок огромный алюминиевый таз помидоров и огурцов. Мы с папой ими питались. За день требовалось съесть таз начисто, утром ждал новый урожай.

Когда мы утомились есть помидоры в таком количестве, мы открыли книгу «Домоводство» и выбрали самый, как нам казалось, простой рецепт переработки помидоров: не в пасту, не засаливать и мариновать — всё это сложно, — а просто сушить на солнце. Естественно, это дело выпало отроку, то есть мне.

Мыть помидоры я не стал, порезал их кружочками в таз — они растеклись немного, но ничего — и полез с тазом на крышу сеновала, где уже расстелил простыню. А на утро следующего дня полез посмотреть результаты. Нарезанные помидоры подвялились на солнце и прилипли к простыне. Я ползал с ножом по скату крыши, пытаюсь перевернуть

каждый кружочек для дальнейшей сушки, что-то отодрал, что-то размазал. Но в целом не очень старался, у меня внизу стоял таз с новым урожаем. Через три дня я снова полез на крышу, соскрёб ножом остатки помидоров с простыни, скинул простыню с крыши и забыл об этом деле.

## КРАСНАЯ ИКРА

Я не знаю, любите ли вы икру. Я люблю очень. Очень! Я вырос на икре. Красная икра всегда стояла в вазочке на столе. Икра была самым питательным и «витаминным» продуктом, который мог есть ребёнок в этих вымороженных послевоенных землях круглый год: в Охотском море и северных реках прекрасной рыбы вдоволь, и красная икра вполне доступна. Нас, детей, ею откармливали. Я пишу «красная икра», потому что есть ещё «чёрная», икра белужьих рыб. Но чёрная икра — южная, я в детстве её тоже ложками ел, но уже в Москве, её присылал бабушкин сын Виктор из Жданова, то есть Мариуполя, а красная икра — северная, родная.

Я был таким маленьким, что мне разрешали сидеть на столе, елозить по скатерти на коленках, добираться до вазочки, переливавшейся всеми оттенками красного, черпать ложкой в рот и уползать. Уползал я к папе мериться силой. Армреслинг, борьба на руках,

был любимым папиным развлечением, равных ему среди колымских мужиков в этом единоборстве не было, и папе, с его тонкими изящными пальцами, нравилось удивлять заносчивых здоровяков своей силой.

Мы ставили руки локтями на стол, он немного поддался, потом клал меня на лопатки, и я уползал за следующей ложкой икры. Но вдруг на какой-то по счету ложке я папу поборол! Да не просто поборол, а свалил с табурета. Помнится, у нас были гости: белая скатерть, тарелки... Папа даже смутился, а дело-то в том, что он ещё в горах Калифорнии травмировал локоть и некоторых движений делать не мог, а я навалился со стола на руку всем телом. Отец от боли скрипнул зубами и вынужден был съехать с табурета.

Как же я был доволен, маленький дурачок. А теперь стыдно, стыдно и до боли жалко моего любимого папочку.

Конечно, были и другие лакомства, например, картофельная кожура. Я таскал её из ведра с очистками, взрослые отбирали, но я всё равно таскал и совал в рот. Мама плакала. Кожуру с картошки в моём детстве срезали ножом, чуть влажный внутри чистый завиток сбегал из-под ножа длинной пружинкой. Сегодня так не умеют, обязательно покажу. А вот апельсины не любил. Их нельзя откусить, шкурку не прорвёшь, до тела не добраться.

То ли дело мандарины! Китай по соседству, и к Новому году мандарины закупились в ящичках. Я придумал есть их особым образом, выворачивая нежное

нутро каждой дольки наружу, изобрёл особый способ вскрытия кожуры, так, чтоб получался человечек, брызгал сок кожуры на свечу... Мандарин — ценный фрукт!

И очень любил яблоки. Ящик, полный опилок, стоял у двери в углу под вешалкой. Я нырял в угол, погружал в опилки руку и, нащупав твёрдый шар, поднимал на свет холодное зелёное яблоко, прижимал к лицу и дышал.

\*\*\*

*Ты прости, что так много подробностей, возможно, излишних. Троплюсь, боюсь не успеть... Ты так далеко от меня... Но без подробностей нельзя ведь, правда? Я хотел оставить тебе мой мир, весь мой мир.*

## КАРА-КУМ

Одноэтажный магазин, опоясанный бесконечным ящиком завалинки, весь виден из окна. Неверный взмах света над крылечком, скрип железного абажура, расшатанного ветром на крюке. Деревянный магазинчик внутри казался огромным. По периметру — прилавки, а посередине — мощный цилиндр кассы, разделённый внутри стенкой, так что две кассирши сидели в будке спиной к спине.

Стеклянный прилавок и окошечко кассы были так высоки, что заглянуть можно, только подтянувшись

на цыпочках. И там за стеклом, выше глаз, стояла ва- зочка со сказочными конфетами «Кара-Кум». Шоко- ладные конфеты нам выпадали редко, но дело не в шо- коладе. Дело в фантике. Фантик «Кара-Кума» был напечатан не на бумаге, как у каких-нибудь «Мишек на севере», а на прозрачном целлулоиде, подсвеченном фольгой. И верблюды, бредущие по песчаным холмам, освещались жарким волшебным солнцем.

Я прибежал в магазин, упирался носом в стекло при- лавка и улетал в нескончаемые пустыни «Чёрных пе- сков», слышал крики погонщиков, и лицо обжигал знойный ветер.

Взрослые, видя с высоты мальчика, прижатого к витри- не, каждый день прибегающего смотреть на сласти, дума- ли, что я мечтал о конфетах. А я мечтал о дальних странах!

## САНТА МАРИЯ

Коридор барака — особый мир. В нём живут так тес- но, что семейных тайн нет, и люди приходят на выручку друг другу естественно, не спрашивая, таков образ жиз- ни. Родившись, я плакал и кричал год, не давая отдыха бараку, и год в очередь меня укачивали на руках всем бараком. Сменялись, передавая с рук на руки, чтобы немного поспать родителям и всем. И, наверное, за это меня очень любили. Чуть подросши, я мог зайти в лю- бую комнату и остаться, и зазевавшаяся бабушка бегала

в поисках по всему бараку: «Алик у вас?» Но больше всех со мною возилась тётя Мотя, соседка, жившая за стенкой, наши примусы на табуретах у дверей в коридоре рядом. Тётя Мотя, полная и шумная, жила с сыном Колей, заканчивавшим школу, взрослым и серьёзным. Коля мечтал стать кораблестроителем, имел свою библиотеку: папирусные лодки незапамятной древности, драккары, триеры, бригантины, фрегаты, пароходы, линкоры, на волнах или в разрезах, многоэтажные палубы в тончайших линиях, пушечки, крошечные матросики — волшебные книги.

Но одна книга поразила меня, нет, не поразила — потрясла, в ней говорилось о каравеллах Колумба. Эта драгоценная книга лежала отдельно, и когда я приходил в гости и просил тётю Мотю поддержать её, тётя Мотя без сына никогда не разрешала, хотя она разрешала мне всё. Коля много занимался, приходил поздно, и я маялся под их дверью, ожидая минуту, в которую он позовет меня и раскроет книгу.

Мы вместе аккуратно клали её на стол и, задержав дыхание, осторожно открывали: из глубины листов перед нами медленно вырастали три корабля, три каравеллы под парусами, полными ветра, в шуме волн. И впереди всех надвигалась на нас царственная «Санта Мария».

Мне очень грустно писать о каравеллах... Мальчик Коля, поехав в Ленинград через всю страну и поступив в кораблестроительный институт, не окончил его, погиб, утонул.

## ДОХОДЯГА

Истопник нашего барака, худой сутулый старик, возможно, вовсе стариком не был, а просто больным усталым человеком, или доходягой, как у нас говорили. Доходяга — тот, кто, болея в лагерях, уже не имел возможности подняться, поскольку пайку назначали по выработке, а он, не давая нормы, получал еды меньше и меньше, пока не умирал. Но нашему истопнику повезло: у него комната в бараке, пусть холодная, и работа, а значит, законная пайка.

Я никогда не знал его имени и называл «дневальным», а он меня любил и отличал от других детей, теперь думаю, из благодарности отцу. Но тогда я преступно относил дары внимания до себя лично. Иногда мне разрешалось погостить в его каморке, где он сажал меня на высокий табурет, ставил перед носом алюминиевую кружку и клал на стёртую клеёнку кусочек сахара. Тёмный, как смолу, чай я пить не мог, кружка и даже её ручка были раскалены, а от отвара исходил какой-то «чёрный дух», но сахар съедал. Когда хозяин отлучался, то переворачивал табурет вверх ногами и устанавливал меня внутрь. Некоторое время я барахтался между ножек и перекладин, пытаюсь сбежать, но опытный зэк каждый раз успевал предупредить побег.

\*\*\*

*Дружок, писал не перечитывая, а как начал правки, то всё замарал. Я оставляю тебе рукописи, может*



*разберёшься? Знаешь, как Толстой писал? Сначала писал строку за строкой, потом писал между строк, потом поперёк написанного. А жена к утру всё перебелила, и он с утра чиркал чистенькую рукопись... Это, скажу тебе, болезнь такая — править текст. Прости.*

Но однажды мне от старого зэка сбежать удалось. Зимой.

Я знал, что живу на верхнем этаже барака, и полез по ступеням. Лестница, начинавшаяся прямо от внешней двери, заметалась снегом, который под ногами подтаивал, превращаясь в корку. Взрослые, когда надо, пробегали два пролёта через ступеньку, а я карабкался вверх, полз и полз, теряя на каждой ступени одежду — валенок, второй, шубку, шапку, штанишки, чулочки, трусики, — выбрался на этаж и потопал к своей двери. Открыл дверь: папа, мама, Элла, Люся, бабушка сидели за столом в тепле. «Это я», — сказал я.

В дверях стоял совсем голый мальчик с красными руками и ногами и огромной соплей под носом. Крик, плач, меня схватили, оттирали, побежали искать грабителей... И последовательно находили чулочки, шапку, штанишки, шубку, валенки, выложенные цепочкой по моему пути.

Мы, малыши, любили доходягу. Однажды летом, в один из редких тёплых дней, мы сложили копейки, у кого сколько было, и пошли за «Золотым ключиком». Магазин ограничивал пространство нашего

двора, и родители наблюдали нас из окон барака. Гурьбой, держа деньги единым кулаком, мы пересекли двор, поросший вытоптанной дворовой ромашкой, и вошли в магазин. «Золотой ключик» — ириска особого рода. Мягкое её тело скрывало твёрдый липкий скользкий стерженёк, похожий на человечка, жевать который было истинным наслаждением.

Получив пакетик, мы сбились в кружок для дележа: тебе одну, тебе одну, тебе одну... тебе вторую, тебе вторую, тебе... до тех пор, пока фантики не закончились. Справедливый пиратский делёж. Но! Осталась одна конфетка. Не две, не три, а одна. А нас человек семь. Если б две или три, мы бы пооткусывали по кусочку, и дело с концом. А как семь раз откусить от одной вязкой ириски? Мы долго ломали голову, пока не увидели дневального, присевшего на завалинку магазина на солнышке.

И мы всей толпой понесли ему конфету. Что испытал этот брошенный, одинокий, забытый всеми человек, когда дети гурьбой принесли ему свою драгоценность? Я помню, как он рыдал.

Он скоро исчез. Много лет спустя я узнал, что его загрызли собаки.

## БУХАНКА ЧЁРНОГО

Аромат хлеба в моём детстве был восхитительным. Ну как объяснить... Например, не в Магадане, в Москве,

возвращаясь второкласником из школы, я за квартал знал, что в будку на колёсах, стоявшую на 1-й Филёвской улице, привезли свежий хлеб.

Под окна нашего барака тоже привозили хлеб. Я был вполне шестилетним, и тётя Мотя, вручив мелочь, попросила сбегать за буханкой чёрного хлеба.

На мою беду, чёрный хлеб привезли не просто свежим, горячим. Я нёс буханку обеими руками, прижав к груди, голова кружилась от хлебного духа. Краешек корки с трещинкой, даже на вид хрустящий, знаешь ли... И я и откусил. А потом ещё откусил. И ещё. А потом оторвал весь угол и жадно съел.

И, передавая изуродованную буханку тёте Моте, взглянув с ужасом в её расширенные глаза, промолчал, был уверен, что она догадалась. Но тётя Мотя не могла представить себе, что такой ангел, как я, мог сотворить подобный ужас, и побежала в магазин, крича, что эти, тра-та-та, подсунули ребенку хлеб, объединный мышами!

Как же стыдно! До сих пор. Понимаешь, я не нашёл, не нашёл в себе сил сознаться. И прошла жизнь, а вина так и осталась. Но хлеб, Боже мой!.. Горячий дух свежей чёрной буханки!

## ОРЕХОВЫЕ КЕГЛИ

Папа любил устроить праздник, просто так, ни с чего, для украшения жизни: вдруг показывал фокус, нежданно начинал игру, обожал розыгрыши.

Одна из любимых игр, которую он принёс из Америки, — «в орехи».

Игрок выставлял свой грецкий орех на кон, шагах в семи от черты, остальные пытались орех сбить своими орехами, в общем — кегли. Промахнувшиеся орехи выстраивались в очередь на кону ближе и ближе к линии старта. Выбив орех из цепочки, ты получал все, которые ближе к тебе, то есть целить надо было в первый — дальний. По этой причине цепочка орехов стремительно росла, покуда самый удачливый не ссыпал в мешочек выигранные орехи, оставив менее расторопным утешительную горсть. В семье, конечно, так не водилось, но всё же игра есть игра...

Орехи шуршали и перешёптывались в полотняном мешке. Кололи их к праздничному пирогу: семья торжественно рассаживалась вокруг горы битых орехов с иголками в руках, приготовившись извлекать кусочки ядер из лабиринтов скорлупы. Орехи имели такую твердокаменную оболочку, что получить цельное, с анатомическими извилинами ядро считалось удачей. Папа наблюдал за нами с грустью, и много позднее я узнал об орехах из Бухары или, допустим, Калифорнии, скорлупу которых можно раздавить пальцами одной руки.

О методике разрушения скорлупы грецкого ореха отдельно: лично я владею четырьмя.

Первый — молотком, камнем и прочими твёрдыми тяжелыми предметами — самый очевидный. Неудобен тем, что, не зная прочности скорлупы, можно сильно

смять ядро. Второй — дверью, папа научил. Приоткрываешь дверь, подсовываешь орех в щель, ближе к петле, закрывая дверь, почти без усилия раскалываешь орех. Легко и точно. Главное неудобство в том, что надо выковыривать хрустящие осколки из дверного проема. Третий способ — сжать в кулаке два ореха, если не поддаются, помочь второй рукой. Папа колот одной рукой. Четвёртый прием — ножом. Просовываешь кончик лезвия в щёлку, по которой половинки скорлупки сшиты, и чуть поворачиваешь. Я обычно так колю. Но тут, правда, надо иметь хороший нож, да ещё уметь им пользоваться. Ну и ещё, на закуску: колю ударом ладони у основания большого пальца. Кладу на стол — бац! Просто и удобно. Если стола не жаль.

На нашем верхнем этаже барака жил начальник, не оставивший о себе памяти, кроме того, что растил щенка колли и жил в двух комнатах, отданных папе на время отпуска вместе со щенком. Две смежные комнаты в бараке — неслыханное дело! На праздник, даже не знаю какой, мы собрались поиграть в грецкие кегли, но обнаружили, что орехов нет, не запаслись. Папа, ничтоже сумняся, предложил играть конфетами. Начальственный щенок не доверял нашей шумной компании и дни проводил под кроватью. Кстати, у начальника стояла настоящая кровать, а не самодельный топчан, как у прочих жителей. Так вот, щенок повадился выбегать и хватать конфеты из линейки во время игры. Причем, хитрая душа, таскал только мои конфеты, когда они

скользили по полу мимо его носа и наверняка должны были сбить всю линейку разом.

Обидно до слёз, а все смеялись.

## ТРИ ТОЧКИ ОПОРЫ

В Магадане своего велосипеда у меня не было, но я помню себя мчащимся по бесконечному коридору барака на трёхколесном велосипеде. Видно, оставили, уехав на Большую землю. Я нёсся очертя голову вдоль табуреток с керосинками на свет дальнего окошка. Летел в разведку, достигал окна, делал два выстрела — «тах-тах!» — разворачивался и мчался назад с донесением. У наших дверей тормозил, отдавал сам себе честь и докладывал сам себе: «Товарищ генерал, ваше задание выполнено!» Генерал отвечал мне: «Молодец!» Доставал из кармана пачку «Казбека» и говорил: «Закуривай». Я брал сам у себя пустую трубочку бумаги из рядка в картонной коробочке «Казбека» и скромно отвечал: «Спасибо, товарищ генерал». Или иногда торжественно: «Служу Советскому Союзу!»

Странно, но впервые сев на трёхколесный велосипед, я потерял равновесие и чуть не упал, кружилась голова. Папа удивлялся: упасть, имея три точки опоры на плоскости, по законам механики невозможно! Потом я научился, конечно, и гонял, гонял!.. Волшебная вещь!

## «ЗВЕЗДА»

В 1953 году на экраны вышел фильм «Звезда» с Крючковым и Меркурьевым, и мы бегали в клуб смотреть этот фильм раз по сто. Фильм легендарный. Разведчики все погибли. Крючков поднял руки, чтобы подпустить немцев вплотную, и рванул кольцо зубами. Граната на груди взорвалась.

Мы были послевоенными детьми, все наши отцы воевали. Мой папа преподавал в техникуме, и его студенты тоже воевали. У всех был один опыт жизни. Все знали, что такое смерть и потеря близких. Взрослые думали, были уверены, что войны больше не будет никогда, и нас, детей, видели в мирном, счастливом, изобильном будущем. А мы сами, мальчишки, чувствовали себя обделёнными, мечтали о героических делах и играли в войну.

Однажды солнечным днём мы играли в городском парке под вековыми соснами. Два воюющих отряда бегали кто куда, прятались за кусты, падали на землю и громко стреляли: «Тра-та-та-та-та! Владик! Убит! Падай!» Каждый из отрядов точно знал про себя, что воюет с немцами, а сами мы, конечно, «наши». Смысл игры был в том, чтобы захватить пленного и выведать у него пароль. Вообще-то смысла никакого не было, просто побегать и покричать «Тра-та-та! Бах! Убит!» Но всё же...

Наш пароль был, конечно, «Звезда». И вот, поймав пленного, мы подступили к нему: «Пароль!» —

«Не скажу! — гордо отвечал пленный. — Наши не сдаются!» Вообще-то «нашими» были мы. Но назвать своего мальчика-соседа «фашистом», оскорбить самым страшным оскорблением, возможности не было. Как добыть пароль? А на «той» стороне та же история: поймали нашего, говори пароль, не скажу, наши не сдаются! Игра остановилась. Собрались вместе, пришло время раскрыть пароли. И каково было общее изумление, когда узнали, что противники — никакие не противники, а такие же «наши», как и мы, и пароль их, конечно, «Звезда»!

## КАМЕНЬ В ЛОБ

Каменных домов в Магадане мало, один помню ясно. Четырёхэтажный серый громадный стоял в верхней точке улицы Коммуны на противоположной от нас стороне, ближе к центру города. Каре с внутренним двором и воротами по двум углам, запиравшимися на ночь. Тёмный его двор пересекали иногда, чтоб сократить путь.

Каменные дома — мы никогда не говорили «кирпичные» — по огромной стране к моему рождению построены, разве что, в больших городах. Моя мама, например, получила комнату в нормальной квартире только в сорок лет, а до этого жила в глинобитном домике Мариуполя, в бараке на Колымском прииске,



бараке в Магадане, бараке в Москве... Папа — другое дело, папа вырос в «каменных джунглях» Бронкса, в Нью-Йорке, и, конечно, четырёхэтажный домик на улице Коммуны не мог считать роскошью. Но папа один... А мы, мальчишки, враждовали с мальчишками каменного дома, обзывая их «буржуями». В драках по малолетству я не участвовал, но однажды огрѐб по кумполу за всех.

«Наши» засели за кладкой дров у каменной крепости и кидались булыжниками в «буржуев». А буржуи отвечали камнями из-за тесовой крашеной ограды. Увязавшись за пацанами, я тоже улѐгся на баррикаду. Камни летали туда и сюда, обе стороны распались и кричали. Я высунулся: камень, ненормально чѐткий, видный будто со всех сторон сразу, приближался медленно, как под гипнозом. Получив в лоб, я скатился с баррикады. Окровавленного меня понесли на руках к барраку: «Отостим! наших бьют!» Разгоралась война. Однако родители просто надавали бойцам с обеих сторон по шее, и конфликт сам собою утих.

Ну а я ходил героем с забинтованной головой, отмеченный вниманием девочек.

## ПОГОНЯ

Магадан 53-го года служил перевалочным пунктом для лагерников, отбывших срок. Вечером на улице

страшно, мой папа носил в сапоге молоток с длинной ручкой, специально сделанный студентами для него. Молоток не нож, но в рукопашном бою очень эффективен.

Фонарь у магазина под нашим окном освещал небольшой круг, просто лампа под металлическим конусом, скрип фонарного крюка — звук детства. Фонарные столбы по улице вкопаны редко, и прохожий, неразличимый в черноте, возникнув в неверном круге света, через три шага исчезал. У магазина ночью мелькали тени и бывали крики, но никто не выходил, даже папа. Мама бросалась к нему и висела на руках. Мужчины выбегали из барака только на женский крик. Но женщины вечером в Магадане редко выходили из дома без мужчин.

Однажды в этом тёмном городе, засыпанном снегом, за нами с сестрой погнались урки. Мы договорились подождать папу в клубе после кино, но ослушались и потопали домой сами по дорожке, от фонаря к фонарю, за фонарями пусто и темно. Навстречу двое в чёрных бушлатах; прошли и остановились, потоптались и кинулись к нам. Мы рванули по улочке что есть мочи, свернули у забора за угол, прыгнули в черноту кювета, зарылись в сугроб и перестали дышать. Бушлаты добежали до угла и остановились, свирепо ругаясь. Мы не дышали, и сердца наши, казалось, замерли тоже.

Бандиты ушли. Снег осыпался по крутой стенке оврага, набился в валенки, мы выбрались и кинулись к дому. И столкнулись с папочкой, шедшим нас встречать.

## У РЕКИ КАМЕНУШКИ

Как-то летом наша семья с друзьями пошла отдыхать на речку Каменушку. Солнечный день, компания растянулась на тропинке в траве большого светлого луга, мужчины расстегнули рубашки, папа в майке, мама сорвала невидный северный цветок. Между группками в два-три человека метров двадцать. Мы с мамой прошли по двум брёвнышкам через ручеёк, потеснив какого-то дядьку, стоявшего на мостике и не уходившего. За мостиком стоял другой дядька. Перед нами прошёл мужчина, его спина виднелась впереди, а сзади другие люди, мужчины. Папа отстал, но это было абсолютно безопасное место, на виду у всех.

Мы отошли довольно далеко, уже спустились к реке, когда у мостика закричали. И те мужчины, что прошли, мгновенно развернулись и побежали назад. И я видел бегущих цепочкой человечков в контрастном свете синего неба. Женщины сразу завопили, мама прижала мою голову к себе.

А случилось вот что, как узнал потом. На мосту стояли два бандита, женщин и детей пропускали, а у одиноких мужчин, приставив ножи к животу, «снимали» часы. Мужчины отдавали часы и уходили. Отец, ничего не подозревая, ступил на мостик, тот, который за мостом, шагнул навстречу, и на брёвнах папа оказался между двух ножей: «Снимай часы!» Часы в то время были ценностью, единственным украшением мужчины.

Папа начал драку сразу, мгновенно, не раздумывая. И те мужики, которые прошли по брёвнам только что, которые были унижены и отдали часы без сопротивления минуту назад, будто ждали команды, развернулись и побежали к мосту.

\*\*\*

*Их нельзя судить, нельзя. Они воевали и выжили, прошли смерть и гибель друзей, непомерные страдания, вернулись в семьи, родили детей, только-только начали мирную, нормальную жизнь, и никто из них не хотел умирать вот так глупо, ни за что, за какие-то часы, пусть даже дорогие. И они сдались... Но почему не кричали потом, отойдя? От стыда, от пережитого унижения. Бандиты очень хорошо знали своих соотечественников, всё рассчитали. Кроме одного: они не знали твоего деда.*

*Так почему он вступил в драку один против двух вооружённых ножами головорезов? Безоружный, в майке? Он не думал. Он просто не мог позволить себе того унижения, с которым потом пришлось бы жить.*

*И я всю жизнь, до сего дня, — а мне уже за семьдесят, — не могу простить себе недостатка отваги в моей собственной жизни.*

## ДЕВОЧКИ

Расскажу я о девочках, которые мне нравились. По секрету, никому не говори, я влюблялся постоянно, начиная с детского сада. И не знаю почему, но влюблялся сразу в двоих. Наверное для того, чтобы сердце разрывалось. И в детском саду я был влюблён в двух девочек, очень несхожих. Забыл имена, как жаль, но помню радость и щемящую грусть, когда смотрел на них. Дело в том, что ни та, ни другая не благоволили мне.

В наш садик приходила маленькая якутяночка, хорошенькая, как куколка. Чёрные глазки-угольки, круглое смеющееся личико, жгуче-чёрные волосы и веселый нрав. Нас на Новый год ставили парой, одевали в белые лыжные костюмы с белыми шарфами, белые шапочки с помпоном, мы открывали хоровод и бросали ватные снежки.

А другая девочка, крупная, светловолосая, медлительная, с модным «коком» — такой локон на лбу, завернутый вверх, — привлекла не знаю чем, возможно, внутренним довольством, уверенностью в себе... Или скорее тем, что меня, такого красивого, удостоенного на нашей кухне звания «красюк номер один», не замечала!

В час дневного сна наши кровати на ковре стояли рядом, и я рассказывал ей истории, которые выдумывал для неё. Но томная красавица, послушав немного, отворачивалась равнодушно и засыпала.

А я продолжал сочинять и мечтать. И именно тогда я придумал написать книгу об отце.

## НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ

Раннее своё детство я провёл на плечах отца. Он носил меня с собою по городу, иногда просто забывая, что наверху кто-то есть, ходил в учреждения, курил трубку, беседовал с людьми, а я на втором этаже жил своей жизнью. Нас знал весь город.

Бывало, он брал меня на лекции, и студенты, большие дяди, передавали меня с рук на руки и рисовали мне зайцев в своих конспектах. Отец читал в техникуме курс «Землеройные машины», он ведь перед войной окончил Ленинградский политехнический институт, а потом работал в «Моснеруде» главным механиком на брандвахте — барже, очищавшей дно Москвы-реки.

Мне повезло, я наблюдал жизнь с двух точек: с земли от ног вверх, и сверху, помещаясь выше всех на плечах отца.

Отец носил меня с собой, потому что некому было поручить и ещё потому, что в детстве я много болел. И однажды заболел так, что, приведённого в больницу на обследование, меня в ней оставили, практически отобрали у родителей, не выдали. Меня удалили от них за стеклянную дверь, а папа с мамой, подписав документы, вышли на улицу. Я стоял и смотрел, как они уходят. Папа оглянулся, помню, как изменилось лицо. Он развернулся — мама хотела удержать — и подёргал ручку входной двери: заперта. Шагнул к другой, за которой ещё стоял я, вырвал с петель, схватил меня на руки, завернул в шинель и унёс.

С тех пор мы никогда не расставались. Никогда.  
По сей день.

## ОХОТНИКИ

Все мужчины Магадана охотились. В Колымской тайге охота — нелёгкое занятие. Вообще охота — многотрудное дело, но на диких и голых колымских сопках найти зверя, выследить, добыть, а потом по сопкам вытащить... Думаю, понятно.

Не помню, чтобы папа приносил какую-нибудь добычу, кроме нерпы. Полезный и питательный жир, ради которого её били, вонял так отвратительно, что южанки мама с бабушкой просто выставили папу за дверь. Нерпой осчастливили истопника, и он ночами, прячась от кухонных дам, жарил на нерпьем жире мороженую картошку.

Главным трофеем папиной охоты стала камбала. На удочку камбалу не ловят, сетью скрести по дну тоже, знаете ли... На мелководе камбалу били с лодок дробью.

Камбала — рыба необычная. Малёк, выйдя из икринки нормальной рыбкой, начинает меняться: один его глаз перемещается к другому, и рыбка ложится на бок и всю жизнь лежит на боку! И чешуя у камбалы — как наждак, чистить — руки обдерёшь, снимают с кожей. Камбалу добытчики притаскивали мешками и тут же

заваливались спать, а женщины часами, рана пальцы, заготавливали белое нежное мясо. Через неделю ещё мешок — хозяйки уже не так рады и большую часть рыбы раздают соседям. Через неделю ещё мешок... «Ну, знаешь! Иди со своей рыбой, куда хочешь!»

На охоту мы с папой готовили ружья: он свою шикарную двустволку «Зауэр», я — свою одностволку. Я имел собственное ружьё, стрелявшее карандашами: в ствол загонялся карандаш, сжималась пружина и — бах! — карандаш вылетал на метр-полтора, вполне достаточно, чтобы убить крокодила. Целлулоидного зелёного крокодила, глотавшего мочало, я ставил на стол, заряжал ружьё, отходил на метр и стрелял — крокодил падал. Но однажды, не знаю почему, пробил горемычного насквозь выстрелом в упор. Печально, но я так поступил. И потерял к нему интерес. Бедный милый крокодил.

Дорогой двуствольный «Зауэр» тоже оказался невезучим. На сопках в снегу первым же выстрелом чуть раздуло ствол. Нет, ничего, стрелять можно, но шик не вернуть.

Через много лет отец подарил мне другое ружьё, пневматическое, взяв клятву не наводить оружие, даже без заряда, на человека. Но та история для другого раза.



## СНЕЖНЫЙ ГОРОД

За ночь снег мог засыпать первый этаж целиком: ни дверей, ни окон. Когда на город обрушивался буран и на ветер, чтобы шагнуть, ложились, радио объявляло тревогу и отмену школьных занятий. Но страшная буря опадала внезапно, и солнце искрилось на волшебном одеяле, накрывшем пустой город, — люди исчезали в каньонах гигантских сугробов.

Короткий солнечный день после ночной тревоги отдавали детям. Мы выбирались на улицу и рыли в сугробах ходы, пещеры, строили дома, создавая свой город, недоступный взрослым, белый, светлый, чистый и холодный. Волшебный город, пропитанный замороженным светом без теней.

На морозе над новичками шутили жестоко, по-магадански. Предлагалось лизнуть железную ручку двери. Мороз насмерть приковывал к железу влажный язык, и, если у тебя не доставало решимости оторвать язык с кровью, пропадёшь. Меня большие мальчишки тоже обманули, дурачка: я лизнул мутную от мороза ручку барака, но мгновенно оторвался, оставив кровавый след. И, конечно, ничего не сказал, когда бабушка и мама шумели, увидев мой распухший рот. А отец, оглядев меня, понял и промолчал.

Пелась пацанами песенка: «Колыма, Колыма, чудная планета! Двенадцать месяцев зима, остальное — лето!»

О магазинных настоящих лыжах даже не мечтали. Везунчики, кому доставались обломки взрослых лыж,

ладили себе подходящие, а папа заострил концы двух досочек, прибил резинки под валенки, поставил пару передо мной и ушёл на службу.

Весь день я падал. Досочки, притороченные к валенкам, позволяли кое-как ступать, увязая в снегу, но мальчик мечтал кататься с гор. Я карабкался на сугроб без лыж, с трудом натягивал резиновые дужки на носки валенок, вставал на край сугроба, делал шаг и тут же падал лицом в снег: острые лыжные концы уходили внутрь сугроба. Иногда мне везло, я скользил метра полтора, но непременно падал лицом вниз раз за разом.

Я очень ждал папу, чтобы показать ему, как научился кататься с гор на лыжах, мне так казалось, так виделось в воображении, и я ни в какую не соглашался идти домой, как ни звали из приоткрытой форточки верхнего этажа.

Папа пришёл в сумерках. Я был счастлив: «Смотри, как я умею кататься!» Оттолкнулся и тут же упал. «Подожди, я сейчас!» — вскарабкался, шагнул и упал. Потом ещё раз. Папа понимал, что лыжи негодные, я падал и падал, но ему очень хотелось, чтобы у меня получилось, и он ждал. Стемнело, я так ни разу и не проехал. Папа вздохнул, вытащил меня из сугроба, взял за руку, и мы пошли в дом.

## РОЗА И ФИКУС

Мама в шубе, в валенках, толстых варежках, да ещё при муфте, на тропинке между сугробами нашла в снегу живую розу. Честное слово! Роза на таком морозе стекленела в минуту. Мама шла одна — и живая роза! Мама спрятала розу на груди под шубой, принесла домой и посадила.

И разросся огромный розовый куст. Да-да! В ледяном Магадане в нашей крошечной барачной камерке на пять человек, где спали даже не на кроватях, а на топчанах и раскладушках, где за занавеской втиснуты кухонный столик, ведро с помоями и примус, на удивление всему городу рос и цвёл розовый куст. А ещё в той же комнате в кадке царствовал огромный, до потолка, вечнозелёный фикус, плачущий белым каучуковым соком, если кто в тесноте по неосторожности задевал его толстый кожанный лист.

Мне самому странно: я родился и рос в снежном городе под тропическим фикусом и кустом цветущих роз.

## «СМЕРТЬСТАЛИНА»

Странно об этом говорить, но я помню смерть Сталина. Впрочем, пять лет — вполне сознательный возраст. Смерть Сталина — отдельное понятие,

произносимое в одно слово: «смертьсталина», как «славакапээсэс» или «великаяоктябрьскаясоциалистическаяреволюция».

Ну как объяснить... Ведь Сталин не историческая личность, не человек. Сталин моего детства — портрет. Висел он везде, иногда улыбался, чаще был строг, носил китель и погоны, жил в Кремле, в одной из острых башен под самой звездой, и заботился о детях. Это не очень умещалось в голове и сердце: как заботился? В саду говорили, он знал каждого. Мама и папа — да... Но Сталин? И как быть с дедушкой Лениным, который тоже «друг детей» и которого я тоже любил?

И вдруг портрет умер. На рамку легла чёрная лента. Взрослые ходили притихшими. У воспитательницы красные глаза, а в кухонную дверь видели плачущую повариху. Отец играл желваками.

Мы тоже притихли, но как скорбеть по портрету? Старшие мазали под глазами слюной, чтоб получились слёзы, и вертелись при взрослых. Но я пытался честно: стоял у портрета, задрал голову, — и не находил печали в сердце. Старался — и не находил. И как-то само собой перебирался к другой картинке, более мне интересной: пейзажу Кремля с моста, точно такому, как на сторублёвой купюре. Разглядывал Кремль и мечтал о том, что когда-нибудь пройду у его башен.

Спустя несколько месяцев, летом, отец пришёл домой очень взволнованным: возвращаясь через парк, он наткнулся на толпу, громившую портреты Берии. Берия — друг Сталина, его благообразная, сытая

физиономия в пенсне висела повсюду. И вдруг палками крушат стёкла и рамы! Отец пропустил на службе объявление о том, что Берия теперь — тоже «враг народа».

А ещё через год почтой пришла бандероль с пачкой свежих страниц к пятидесяти томам Большой советской энциклопедии и инструкцией, какие страницы из каждого тома вырвать и где вклеить новые.

И мой папа, который относился к книгам, как к святыне, который потратил серьёзные деньги, чтобы выписать и доставить из Москвы в Магадан, а потом, при отъезде, из Магадана в Москву ящики с огромной энциклопедией, мой папа, стиснув зубы так, что кожа на скулах отвердела, вырезал из толстых синих томов листы и вкладывал иные. Даже мой папа, который не боялся ничего, боялся всевидящего сталинского глаза.

\*\*\*

*...Мы с папой улетали из Магадана в январе 1957 года. Окончился десятилетний контракт на Колыме. Десять лет работы на Крайнем Севере давали пенсионные преимущества, поэтому, как ни трудно, раньше, чем через десять лет, на Большую землю из Колымского края никто не возвращался.*

*Мы с папой улетали вдвоём. Мама оставалась до весны, ей необходимо было проработать ещё несколько месяцев, чтобы выслужить законные льготы. В Москве, на Филях, в папиной комнате барака «Моснеруда», нас ждали бабушка Фрося и сестра Элла.*

*А я, пойдя в школу в Магадане, как раз вышел на новогодние каникулы.*

*Мы готовили вещи к отъезду, и мне позволено... Нет! Эта история началась раньше. Да-да, раньше, и у неё отдельное название, такое, например:*

### «СТАЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ»

Я мечтал о Сталинской премии, самой главной премии СССР. По моим тогдашним понятиям, Сталинскую премию назначали только за «открытие золота». Мамины брошь и кольцо трудно сопрягались с золотым месторождением, но что я знал верно: золото ищут в камнях. И я стаскивал домой камни всех видов и размеров, постепенно заполняя «каверны» нашего крошечного пространства.

Комната наша, как уже говорил, — у дальней торцевой стены. Длинный тоннель с рядом дверей почему-то только по одной стороне коридора, бесконечный ряд табуретов с примусами и тусклый свет из дальнего окошка. Забавно, но я не помню света у нашего торца, наверное, оттого, что, отворяя дверь, сразу смотрел вдаль, стараясь разглядеть в полутьме главное: кто вышел и кто что готовит.

Кстати, примусы, почти весь день гудевшие на табуретах, и коптящие керосинки были опасны, и случались в коридоре отчаянные крики, когда керосин вы-

плескивался горящими языками на пол деревянного барака. Тогда из всех дверей бежали к огню с развёрнутыми на ходу одеялами. Мама носила китайский шёлковый халат, китайские халаты и мужские полосатые пижамы были в большой моде, и при разжигании примуса огненная струйка брызнула на шёлк. Тончайший шёлк вспыхнул разом, на крик выбежали соседи, я тоже выскочил, меня тут же впихнули обратно, а маму, повалив на пол, закатали в одеяло погасить огонь, полыхавший на её теле. Шрам на ноге остался на всю жизнь. Дело решили секунды, магаданцы не медлили и не рассуждали, они всегда были готовы к беде и к помощи.

Напротив нашей двери лестница заколоченного с улицы «чёрного хода». Вообще-то второй выход полагался на случай пожара, но всегда и везде, по всей стране, чёрный ход заколачивают, чтобы получить кладовку под мешки, сломанные тумбочки, коробки с ветхой мелочью, рамы и колеса несуществующих велосипедов. У каждого жителя барака свое место в хранилище, своя ступенька лестницы. А у нас был отдельный ящик под окном. Особенный ящик с наклонной крышкой, чтоб не думали громоздить что-то сверху, — ящик под пожарный песок. В ящике отродясь песку не имелось: в одной из двух секций хранилась соседская картошка, в другой — мои богатства. Да-да, у меня, в нашем доме единственного, имелся собственный сундук сокровищ, забитый доверху камнями и железками, пригодными для всяких изобретений. Какое наслаждение откинуть крышку и с замиранием сердца рыться в них.

Но однажды терпение взрослых лопнуло — в ящике под картошку должна лежать картошка! Как я спорил, какие доводы искал, как бился за каждый осколок, за каждую ржавую гайку, за зелёное бутылочное стёклышко, за цветной шарик, за каждый гвоздь, за каждый камень — стоял насмерть! Особенно жалел кусок провода, скрученного в трубку, гибкого, с раструбом на конце, из которого когда-нибудь можно сделать рацию и получить наконец-то Сталинскую премию! Честно сказать, забыл, что отвели мне взамен драгоценного ящика, но на жалкие остатки сокровищ смотреть не хотелось. Однако не на того напали — под кроватью довольно скоро я накопил новый, теперь тайный, клад, но и с ним приключилась беда.

## ВОРОБЬИ ИРКУТСКА

Мы улетали из Магадана в Москву навсегда, и мне дозволили взять с собою личные ценности. Я нырнул под кровать и обнаружил зелёного крокодила с пробитым брюхом, он милый, но нет... не повезу. Нашупал за тапочками кусочек фольги от шоколадного зайца, потерянные цветные карандаши и большую неподъёмную коробку, за которой, собственно говоря, и полез под кровать. В коробке хранились проволока с раструбом, кованая скоба от сгоревшего барака и камни, камни, камни. Эту коробку я и приволок



папе. Папа охнул. Нам предстояло лететь через всю страну, и каждый лишний грамм требовал серьёзных усилий и денег.

Мы с папой сидели рядом и перебирали камни, проволочки, гвоздики, стёклышки, и я, напрягая интеллект и красноречие, доказывал уникальность каждого осколка своей такой недлинной жизни. Тяжёлый, нервный, нескончаемый разговор... Однако удалось отстоять некоторые камни и любимую проволоку с раструбом. «Хорошо, но носить будешь сам!» На том и порешили.

Перелёт из Магадана в Москву — многотрудное и сложносоставное путешествие. Сначала с горой багажа перелёт в Хабаровск, на юг, вдоль Охотского моря, а затем сутки в Москву на тридцатиместном ИЛ-12 с пятью посадками и томительными часами в зале ожидания. Я бывал в Москве до января 57-го года: Магадан — Хабаровск обязательно самолётом, далее неделю поездом. Но так чтобы весь путь за день самолётом — впервые.

\*\*\*

...Здесь, понимаешь, дата — важнейшая подробность. Мы летели сразу после Новогодних праздников 1957 года, в первых числах января. А фокус в том, как говорил мой папа, что в декабре 56-го в австралийском Мельбурне закончились летние Олимпийские игры, и спортсмены Советского Союза впервые на них соревновались. Да как соревновались — взяли больше всех

медалей! Легендарные спортсмены, надо сказать, многие были фронтовиками. О результатах у нас узнавали по радио и в газетах, телевизоров в Магадане не имелось, но с уст не сходили имена олимпийцев. А Куц был моим любимцем, теперь его забыли, а ведь когда-то признали лучшим спортсменом мира! С детства я знал про Куца главное: он бежал быстрее всех и бежал всегда, даже на пароходе «Грузия», когда плыл в Австралию. Бежал и бежал по кругу на палубе белого парохода. И за это я его очень любил. И в эти дни олимпийская команда возвращалась по океану во Владивосток.

Австралия — неисполненная мечта папы, когда-то в Сан-Франциско он нанялся матросом на корабль, шедший в Мельбурн, но сошёл в Японии и вернулся на родину строить счастливую новую Россию...

Мы вылетели из Магадана в лютую стужу. В аэропорту Хабаровска я впервые увидел бананы и, хотя никогда ранее их не видел, сразу узнал. Папа ходил по забитому вещами и людьми аэропорту, в распахнутые полы кожаного пальто поблескивали золотые пуговицы инженерного кителя. Я узнавал папу издали в любой толпе: он был самым красивым.

Мы поднялись в воздух, и меня вывернуло наизнанку. Два часа полёта, гула, болтанки, воздушных ям, вдавленных в мозг ушных перепонки. Затем посадка — и меня снова вырвало. Затем два часа передышки, снова самолет, снова рвота до боли в кишках, снова камни в ушах, воздушные ямы, два часа полета — и снова посадка, рвота и боль... Отдых — и снова в самолёт...

Мы долетели только до середины Сибири, только до Ангары, только до Иркутска.

Вышли из самолета на снег, освещённый после полутемного самолётного нутра ослепительным солнцем, и я увидел... Воробьев!.. Воробьев зимой в январе в Сибири. И семилетним мальчиком, я, поражённый, подумал: как же далеко от тепла Магадан. Воробьи у нас появлялись только в мае. Ненадолго.

«Колыма, Колыма, чудная планета! Двенадцать месяцев зима, остальное — лето!»

Нужно было перетерпеть часов двенадцать полёта, всего три-четыре посадки — и Москва. Папа очень устал и, взглядываясь в мои глаза, спросил: «Алюха, ещё три перелета выдержишь?» Я посмотрел на него и кивнул. А он посмотрел на меня и ушёл сдавать билеты. Поездом ехать дня три или даже четыре. От касс папа вернулся взволнованным и сказал, что если мы уедем не сегодня, а завтра, подождём день, то попадём на поезд, в котором из Владивостока едут в Москву наши олимпийцы! Как ему хотелось поговорить с ними! Он был счастлив любой возможности поговорить с человеком, видевшим другие земли. Как теперь понимаю его! Прошедший пешком американский континент от океана до океана, в СССР, несмотря на гигантские просторы нашей страны, он чувствовал себя запертым. Да, понимаю, и мальчиком, мне кажется, переживал каждое движение его души. Но тогда я был измучен и очень мал, и, как ни мечталось увидеть любимого Куца, просил отца ехать: провести ещё день на вещах,

на вокзале, не имея возможности просто лечь, не было сил. Простите мне это! Я был маленьким и, как выяснилось потом, несшим в себе зародыш страшной болезни. И мы с папой олимпийцев не дождались.

Какое счастье — ехать на поезде в мягком купе! Папа читал мне книжки: про Ермака, который утонул вот здесь, в Иртыше, и читал вслух Сетона-Томпсона про кошку с чудесным именем Аналостанка, про великого иноходца, прыгнувшего со скалы, чтобы не сдать-ся людям, про волчицу, выросшую среди людей и затем воевавшую с ними и сделавшую шаг вперёд под выстрел. Ах, как я плакал над ними!

«Владивосток — Москва»! На этом поезде я пересёк страну несколько раз, сказочное путешествие, сколько чудесных подробностей сохранилось. А последнего путешествия не запомнил. Кроме, может быть, нескончаемого, томительного ожидания. Мы уезжали из Магадана навсегда.

*...Вот, мальчик, думал — закончил, и вдруг «увидел» кедровые орешки, рассыпанные на простыне. Мелкие кедровые орешки заготавливали из шишек стланика: собирали осенью шишки, сушили на солнце и выбивали орешки на простыню. Кедровое семя питательно, и дневальный наш тоже запасался орехами на зиму, стелил ткань на траву и высыпал гору шишек. Многие в Магадане запасались, кроме папы, твоего деда. Он никогда не делал больших запасов. Чтоб не мешали встать и налегке идти вперёд.*



## СОДЕРЖАНИЕ

ТРИ РАССКАЗА . . . . .	3
Муся . . . . .	5
Мариуполь . . . . .	12
Запах горького миндаля . . . . .	17
КИТАЙСКИЙ КОВЁР С РОЗАМИ	
<i>Неоконченная повесть</i> . . . . .	21
Ковёр с розами . . . . .	23
Резинка от лифчика . . . . .	24
Кубики . . . . .	25
Хрустальные купола . . . . .	26
Компот . . . . .	26
Полярный гость . . . . .	28
Дутый шоколад . . . . .	29
Мяч на траве . . . . .	30
Грибы магаданских сопок . . . . .	32
Солдатская пряжка . . . . .	34
«Севильский цирюльник» . . . . .	36
Жареная муха . . . . .	37
Коробок спичек . . . . .	39
Голубой пистолетик . . . . .	40
Верхом на горшке . . . . .	42
Мушкетёр . . . . .	44
Стакан семечек . . . . .	46

Помидор . . . . .	48
Красная икра . . . . .	51
Кара-Кум . . . . .	53
Санта Мария . . . . .	54
Доходяга . . . . .	56
Буханка чёрного . . . . .	58
Ореховые кегли . . . . .	59
Три точки опоры . . . . .	62
«Звезда» . . . . .	63
Камень в лоб . . . . .	64
Погоня . . . . .	65
У реки Каменушки . . . . .	67
Девочки . . . . .	69
На втором этаже . . . . .	70
Охотники . . . . .	71
Снежный город . . . . .	73
Роза и фикус . . . . .	75
«Смерть Сталина» . . . . .	75
«Сталинская премия» . . . . .	78
Воробьи Иркутска . . . . .	80

*Александр Греф*

НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ

*2023 г.*

*Гарнитура: Банниковская*

*Формат бумаги: 70 x 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>*

*Тираж: 500 экз.*

*Макет, вёрстка: К. Кирьянов-Греф*









АЛЕКСАНДР ГРЕФ

# НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ